

ОСТРОВ АКСЕНОВ

# СКАЖИ ИЗЮМ



Василий АКСЕНОВ

# Василий Павлович Аксенов

## Скажи изюм

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=153242](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153242)  
Скажи изюм: Эксмо; Москва; 2006  
ISBN 5-699-18103-2*

### **Аннотация**

Один из самых известных романов Василия Аксенова – озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немислимое для советской действительности – собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и «органы» (в романе – «железы») начинают преследовать «идеологических диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история знаменитого литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима – цензуру и поплатились за это, а за мастерами объектива, за героями книги – метропольцы, известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа.

## Содержание

Эпиграф	4
I	4
II	6
III	8
Жилтоварищество	9
I	9
II	16
Ого	19
I	19
II	22
III	24
IV	27
V	28
VI	39
Дружба	43
I	43
III	50
Берлин	52
I	52
II	54
III	56
Уик-энд	57
I	57
II	61
Ошибочки	63
I	63
II	68
III	71
Конец ознакомительного фрагмента.	73

## Эпиграф

### I

«После кино из всех искусств для нас главнейшим является фотография!»

*(В. Ленин или И. Сталин).*

Когда и кем из двух возможных авторов изречена цитата, доподлинно не известно.

В наши дни знаменитый советский фотограф «новой волны» Максим Петрович Огородников, подвыпив в одном парижском частном клубе, внес и свою лепту в науку фотоведения. Вот то, что удалось собрать из его идей: фотография – это связь видимой реальности с астралом. Тайна эмульсии непостижима. Суть фотопроцесса скрыта в перемещении космических и астральных сил. Нам надо лишь по-детски радоваться этой, одной из малых тайн, приоткрытых нам Высшей Милостью, благоговейно предполагать за этой малой сонм великих, а мы объясняем фотографию какой-то механической дурью.

Давайте, господа, говорить об этом, как дети. Я люблю, господа, все, что связано с фотографией, – камеру, сумку, наплечный ремень. Обвешанный аппаратурой, я кажусь себе странствующим рыцарем.

Люблю, внезапно отрезвев,  
увидеть Агтику, Элладу,  
где, словно туча, дымный Зевс  
обозревает эспланаду.

Люблю предмета смысл и звук  
в его осмысленном звучанье,  
пусть непригляден, как паук,  
пусть непристоек, как овчарня.

Люблю всемирный кавардак  
обозревать, прикрывшись тогой,  
и в той же тоге, натошак,  
в России, красной и убогой,

вести застольный разговор  
с партийным шишкой, местным вором,  
и в щи бросать табачный сор,  
и вора покрывать позором.

Люблю в Москве поднять самум,  
друзьям устроить переключку...  
Say cheese, my friends! Скажи изюм!  
Вниманье, вылетает птичка!

Я грешен, братцы, признаюсь  
И опускаюсь на колени:

бывают дни – я, пьяный гусь,  
девиц без устали и лени

ищу, но сквозь похмельный квас  
вдруг вижу все по старой моде —  
две пары лыж, жену, Кавказ  
и месяц ранний на восходе.

Мучительна ничтожеств фальшь,  
но видит все незримый зритель,  
когда нечистый палец ваш  
тайком тревожит проявитель.

Я выхожу. Мой Хассельблад  
плечо мне тянет. Ночь в округе.  
Направо ль Рай? Налево ль Ад?  
Куда летим в московской вьюге?

Но щелкает мой автомат...  
Лицо космической подруги  
освещено. Сто тысяч ватт.  
Из темноты летят пичуги.  
Широкофокусный охват.  
Вальсок, тангошка, буги-вуги...  
И стар, и млад, и леопард  
на нашей крохотной фелюге,  
плывущей в некий фотосад...

Вот почему, собственно говоря, милостивые государыни и милостивые государи, я так интенсивно всю жизнь увлекаюсь фотографией.

Однако как все началось в плане развития не пьяных откровений, а социалистического фотореализма? Как возникла могучая отрасль искусства, перед которой нынче даже советская литература, такой незаменимый подручный партии, бледнеет?

## II

Существует в своде народной мудрости наших дней еще одно изречение, относящееся к фотографии. ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – так гласит это изречение, которое приписывают то ли Ленину опять же, то ли Сталину, то ли всему советскому народу. Эта мудрость почему-то не выносится на плакаты и транспаранты, однако в Союзе советских фотографов она известна всем. Особый идейный смысл фразы предусматривает широкие теоретические толкования, однако и практического употребления цитатка не избежала, в частности, для борьбы с пьянством в ресторане «Росфото».

Арифметически средний член СФ СССР за один присест в этом знаменитом ресторане употребляет не менее полукилограмма водочного изделия. Остерегись, Коля, говорит ему метрдотель Андрианыч. Желудки ведь у людей бывают разные. Знаю, рявкает в ответ арифметически средний. Наливай!

Ресторан этот, как ни странно, и до большевистской революции назывался точно так же, ибо в этом здании помещалась мелкобуржуазная организация фотографов, пытавшаяся насадить в российской фотографии нравы махрового объективизма. Не переименовали ресторан по чистому недоразумению. Большевики любую аббревиатуру полагали собственным изобретением, ну а народ российский все старое очень быстро позабыл, все вокруг связал со своей единственно возможной властью. Кому, например, в голову придет полюбопытствовать происхождением славных буденновских войлочных шлемов с шишаками, их длиннейших шинелей с бранденбурами, петлицами и геометрическими фигурками знаков отличия? Подразумевается как бы, что сам Семен Михайлович на пару с Климентом Ефремовичем разработали этот изысканный дизайн, от которого за версту несет «Миром искусства» и ранним модерном со скифскими инспирациями. Полностью забыто, что разработано это было художником Васнецовым в 1916 году, что новая форма была заготовлена еще при старом режиме и большевикам только и оставалось, что вскрыть московский Арсенал, нашить под шишаки свои звезды и мчаться в атаку на Варшаву.

Даже и в наши дни современный совчеловек окружен знаками старой России, о которых и не догадывается. Особенно много этих знаков в так называемом «ширпотребе». По сути дела, большинство предметов для мелкой частной жизни остались нам от «помещиков и купцов». Ну вот, пол-литровая бутылка, например, или коробок спичек, к слову сказать, конфеты «Мишка на Севере», мыло «Кармен», банка шпротов, одеколон «Шипр» – все дизайны разработаны до, а то, что *после* появилось, вроде электробритвы, то просто-напросто просочилось с Запада. Совдеп за все свои годы не изобрел ничего для мелкой пользы граждан, только лишь кое-что для исторических целей – стреляющие устройства, вроде «катюш».

Такие мелочи приходят в голову, когда сидишь в историческом краснодеревесном зале ресторана «Росфото». Пятьдесят лет уже здесь помещается «боевой штаб советского фотоискусства», вот именно полтинник как раз и прохилил с той поры, когда знаменитый русский фотограф Аркадий Грустный весь в слезах и соплях вернулся из эмиграции и сдал в ГПУ свой «кодак». Примите, примите мое раскаяние, строители нового мира! Да, я снимал Государя и Сашу Керенского, да, я сфотографировал крейсер «Аврора» в самый неподходящий для того момент... Каюсь... Смотрите, Аркадий Грустный на коленях! Товарищи, распространяем принципы социалистического реализма на отечественную фотографию!

В ГПУ, по слухам, скривились: тоже, мол, нашелся новый Максим Горький! Остудили несколько пыл неопита. Вы нам не Горький, товарищ Грустный, фотографы – не чета писателям. Писателей покрываем соцреализмом, чтобы не умничали, а с вами, фотарями, разговор будет попроще. Без всякого соцреализма будете отражать нашу новь, фиксировать наше счастье молодое, куда пошлем, туда и поедете!

И вот, по слухам, взбунтовался недобиток. Не согласен, заявил Аркадий Грустный. При всей моей любви к внутренним «железам» пролетарской диктатуры не согласен, товарищи! Не может партия обойти своим вниманием фотографию!

Вся эта история, повторяем, передается по слухам, по шепоткам, по разговорчикам и намекам. Архивы ЧКГПУ-НКВДМГБКГБ закрыты навеки не только для скромных сочинителей, но и для мудрых историков, но и для всей человеческой цивилизации, но и для всех, конечно, внеземных цивилизаций. Что ж, за неимением доступа к священным архивам пролетариата будем жадно пользоваться молвой.

Бывший белогвардеец, а впоследствии почетный комсомолец Донбасса развил бешеную энергию, замелькал по Москве и вдруг выскочил возле Никитских ворот с лозунгом в зубах: «После кино из всех искусств для нас важнейшим является фотография. Ульянов (Ленин), Сталин (Джугашвили)». Здесь, в особняке, украденном у господина Рябушинского, проживал вождь пролетарского искусства.

Якобы вбежав на правах еще эмигрантской дружбы, якобы влетев с трепещущим лозунгом в одной руке и с фотоаппаратом в другой, Аркадий Грустный быстро раздвинул треногу, поставил свое орудие производства на автоматический спуск, быстро присел на валик кресла, щека к щеке с классиком, и жарко зашептал, волнуя легендарный моржовый ус: «Же вудрэ вотр пасьон, Алексис! Умоляю, скажи изюм! Сейчас вылетит птичка!»

Пробил твердыню непонимания! Через неделю в боевом органе – газете «Честное слово» появился снимок двух гигантов Советской России, сидящих в кресле господина Рябушинского под основополагающим лозунгом корифеев человечества. Здесь же печаталось постановление ЦК ВКП и маленькое «б» о роспуске фотогруппы «Фокус», где под внешне безобидным покровом свил себе гнездо буржуазный объективизм. Учреждался Союз советских фотографов, верных идеям социалистического реализма.

Большие дела стали разворачиваться в здании Росфото на Миусской площади: съезды, конференции, смычки, подписания шефских договоров, недели дружбы, декады сотрудничества, пленумы по идеологическим вопросам. Бюджет союза с каждым годом повышался, вместе с ним рос и авторитет основателя, который теперь подписывался на новый манер – Ким Веселый и в скобках «б. Аркадий Грустный». Снимки его тех лет потеряли отчетливость, как будто камере передавалась какая-то странная нетвердость руки. Впрочем, критики объясняли эту нечеткость революционным волнением, этим необходимым компонентом соцреализма, а вовсе не злоупотреблением горячительных напитков.

Критика критикой, а к Киму Веселому уже торопился сподвижник, надежный дворянских кровей большевик Блужжаежжин, вез из Кремля царский подарок, дюжину вина «Киндзмареули». Согласно слухам, вино было доставлено на Миусы одновременно со знаменитой коробкой шоколада в адрес особняка, сворованного у господина Рябушинского. Согласно опять же слухам (архив, по обыкновению, нем), Блужжаежжин сам благоговейно откупорил бутылку удивительного вина, похожего на историческую «мальвазию» горбатого британца, сам передал бокал учителю, сам и дал понять, что отказ от немедленного употребления будет дарителем истолкован не в пользу получателя. Для пущей убедительности Блужжаежжин и себе бухнул стакан. После распития получатель отправился в виде праха на вечный покой в крепостную стену, а посыльный стал генеральным секретарем Союза советских фотографов. Даритель же, узнав о случившемся, как раз и произнес идеологическую фразу, на долгие годы определившую развитие советского фотоискусства: ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!

### III

Нет нужды сейчас последовательно рассказывать славную историю советского фотоискусства, она неотделима от героических свершений всего нашего народа, Партии и Государства; конечно, по ходу повествования придется нам иной раз делать нырки в историю, то в 1956-й, то в 1968-й, не раз придется нам упоминать и 1937-й и даже не всегда по общеизвестным причинам, а просто потому, что это год рождения нескольких наших героев, в том числе и упомянутого уже Максима Огородникова; однако не так уж важны для нас эти нырки, главная задача наша в соответствии с указаниями Партии – освещение и фотографирование героики наших дней.

Скажем все-таки, что заветы классика Кима Веселого, огромный портрет которого в сидячей позиции с откинутой фалдой доброго бельгийского сукна, с закинутой ногой, обутой в англобашмак, с перекинутым через плечо франко-шарфом и с человечно поблескивающими стеклами восточно-швейцарских очков украшает обширный вестибюль цитадели на Миусах, который... где... по поводу чего... фраза безобразно затянута, и с одной лишь целью – сказать, что заветы Аркадия Грустного не забыты. Партия даровала фотографии свое неусыпное внимание. Больше того, из состава своего «вооруженного отряда» выделила она к концу тридцатых годов особую группу авторитетных сотрудников, и группа сия, законспирированная самым надежным образом, в конце концов выросла в могущественное, хотя как бы и не существующее Государственное фотографическое управление идеологического контроля, замаскированного филиала четырехбуквенного номинала, известного среди благодарного народа под кличкой «внутренние железы». Учреждение это вывески не имело, хотя и обладало огромным штатом сотрудников и автопарком, которому бы позавидовало любое министерство, если бы располагало секретными данными о количестве машин ГФУ.

Если уж появляется в природе тайная полиция, жди – неизбежно возникнет и оппозиция. Жизнь показала непреложность этого закона. Так случилось и с советской фотографией. Не прошло и сорока лет деятельности ГФУ, а впоследствии ГФИ, или, как московские вольнодумцы окрестили ее, «фишки», как зародилось в творческой среде неуместное брожение умов, ненаправляемое перемещение тел, стали проникать в прежде здоровую среду тлетворные западные катализаторы, потом даже и свой отечественный мистицизм робко запузырился – все-таки недодавили! – и вот вдруг, уже в наши дни, вызывают на ковер заслуженного генерала Планщина Валерьяна Кузьмича и говорят ему в строгой, но товарищеской манере:

– Вот вы, Валерьян Кузьмич, все с фотографами Польской Народной Республики возитесь, гребена плать, а у вас под носом, в образцовом коммунистическом городе, тайная секция появилась «Новый фокус» с идеями махрового объективизма и ненаучного идеализма, мальчишки альбомчик свой хитренький мастырят под названием «Скажи изюм!». Немедленно собирайте, Валерьян Кузьмич, оперативную группу, даже скорее сектор. Вот ваш бюджет – три миллиона. Для начала хватит?

## Жилтоварищество

### I

И задумался генерал Валерьян Кузьмич Планшин... Нет, не годится начинать нашу историю такого рода фразой: на кой нам черт вообще все эти генералы, все эти полицейские дела, неужто нельзя без них обойтись, начиная очередную российскую повесть, неужто нельзя, по крайней мере, до предела ужать «бойцов невидимого фронта»?

Осень, микрорайон, крутится в сумерках некая некрасовская нота, вроде «только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она». Нет, нет, народ еще жив, а значит, жива вместе с ним наша заунывная лирика. А вот и «несжатая полоска», или, если угодно, «стареющая новостройка». Гордо задуманный когда-то пятый корпус кооператива «Советский кадр», так и не превратившийся за шесть лет в жилое помещение. Бывают такие незадачливые новостройки в Москве: годы проходят, а стены до запланированной высоты не поднимаются, или крыши не наводятся, или стекла не вставляются, грязи нет конца. Иной раз вдруг начинает ворочаться забытый и проржавевший кран, появляются на вершине две-три ленивые фигуры, хулиганским разворотом закатит на площадку демон грязи – самосвал, свалит кирпича новую горку, сорок восемь процентов брака, и снова на многие месяцы все замирает – и новостройка хиреет, стареет, грустные думы, конечно, наводит она.

Мимо, над грязью, по насланным вроде бы уже навеки доскам и штукам бетона тянутся тысячи от станции метро «Аэродинамическая» до Космического проспекта, вдоль которого выстроились более удачливые сестры нашей печальной новостройки, превратившиеся в жилища и давшие неплохой приют вот этим продвигающимся в сумерках тысячам. Обезображенный шесть лет назад переулочек живет своей хлопотливой обезображенной жизнью. Федюня, шофер-блатяга из магазина «Диета», разгружает свои блатные заказы. Задом к подъезду «Роспотребкоопа» подает председательская «Волга». Частники перетаскивают с «Жигулей» на «Жигули» свинцовые аккумуляторы: зрелище довольно смешное, вес предмета не соответствует его объему, не соответствует ему и напряженный изгиб спины. Из заднего двора с тылов овощного магазина быстро вырастает очередь – подвезли бананы.

Никто вроде и не заметил, как вышел из подъезда номер 3 четвертого корпуса кооператива «Советский кадр» молодой рыжий. Только у забора новостройки в рафике «Скорой помощи» что-то внутри мелькнуло.

Молодой рыжий с окладистой бородою был не кто иной, как тридцатилетний член Союза советских фотографов Алексей Охотников. Давайте сразу договоримся не путать его с сорокатрехлетним членом того же союза Максимом Огородниковым. Предки первого, очевидно, охотились, снабжали свое племя дичью, предки же второго, по всей вероятности, принесли в славянские шатры первую репу. Произнося имя Охотникова, не скупитесь на «о», в этом случае и Алеша превращается в Олешу, Олексея, потому что явился парень в столицу из поморов, архангельский такой перед нами крепыш. Что касается исконного московского продукта Максима Петровича, то тут жмите на «а», не ошибетесь, произнося Агародников с торопливым заглыванием окончания.

Итак, Охотников вышел на крыльцо номер 3 и забросил за спину длинный конец шарфа. Четвертый корпус кооператива был, собственно говоря, местом его незаконного проживания. Больше года уже он обитал в маленькой двухкомнатной квартире фотографа Пивоварова (происхождение фамилии, очевидно, не нуждается в объяснениях), который уехал на месяц в гости к своей жене Ингрид, западногерманской подданной, и до сих пор почему-то не вернулся.

Длинная кожанка, шарф через плечо, огненная борода, поморский сын был издали похож на не очень-то советского субъекта. А ведь когда впервые появился в «Росфото», черносотенцы, разные там Фряскины, Чебрекины, Шелептины, пришли в восторг – наш, наш! Нашего полку прибыло, придется жидам потесниться перед глубинным русским гением. Невдомек было мужепесам, что Олеха Охотников причислял себя к европейскому отряду русской нации, который еще до постройки Петербурга вывозил дровишки на Запад. Не знало злое мужичье, что юность Олехина прошла в тени статуи в ботфортах и треуголке, в некотором даже общении с международной матросней, откуда и добыт был, между прочим, за пару бутылок водки уже названный выше кожаный реглан.

Впрочем, скоро стали замечать так называемые «русситы», что сидит их любимый богатырь в ресторане «не с теми», говорит «что-то такое не то», а главное, снимочки тискают в журнальчиках «не те», не дышит в них душа народная, а по нетрезвому делу даже еще и разглагольствует Охотников о Туринской плащанице как о матери всемирной космической фотографии, то есть в полном разрезе с корневым материализмом. Вдруг оказалось, что «не наш, не наш» молодчик, то ли обманутый Сионом, то ли и сам не чистой воды, с подозрительной библейской курчавостью.

Ослы, говорил Охотников, крутя свои архангельские круги, как бы звеня ими по северодвинскому льду, ослы, вот ослы-то остолопские. Они думали, что я – пень таежный, а меня еще в 16 лет в гэфэушку тягали за наш журнальчик школьный под названием «Ракурс Праги». Они думают, что я на их классика Фолохова молюсь да на Фаньдюка, а ведь мы в Архангельске на Алексе Спендере росли, на Жильберте Фамю, на нашем собственном, можно сказать, авангарде – Древесный, Герман, Огородников... Разве этим ослам понять, что такое наш северный город, куда еще в XV веке европейские послы плыли? Помню, я мальчиком еще был, а мне тетя пальцем показала на двух мужиков в мичманках – это, Леша, идут Юрий Казаков и Виктор Конецкий, два замечательных русских писателя. Я их тогда тайно сфотографировал из-за коленки Петра Первого. Горжусь этой работой до сих пор, человеки! Город наш – город Архангелов, сродни калифорнийскому городу Ангелов, только старее и загадочней...

Итак, этот увалень Охотников вышел на крыльцо и увидел у забора новостройки «Скорую помощь». Вот сейчас самое время бодро слинять, подумал он. Вот за крыльцом редакции журнала «Советская выдержка» приткнулся мой «Запорожец». Я иду к нему и, если он заводится, задом выезжаю на проезжую часть. Там шпарят один за другим самосвалы. Все заливается грязью. «Они» вырывают за мной. В это время встречный самосвал левой задней в лужу – жуяк! – ветровое стекло у тихарей в желтой грязи, и – напареули по гудям! Пока они включают дворники, я виляю налево и растворяюсь в сумерках. Тем временем в квартиру приходит Пробкин и принимает датчан, а я успеваю еще заехать за пленкой к Цукеру. Сделаны два полезных дела.

Так рассчитывал Охотников, стоя на пороге кооперативного дома, где в незаконно занятой пивоваровской квартире вот уже два месяца, как подготавливалась «бомба» – издание неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!». Чуть ли не каждый вечер собиралась здесь гоп-компания фотографов, дерзостно решившихся прорваться на волю из идеологической зоны. В шутку себя называли «Новым фокусом». У шутки был нехороший душок, ибо старым-то «Фокусом», напомним, называлась мелкобуржуазная, разогнанная Кимом Веселым организация бескрылых объективистов. Шутка усугублялась еще и тем, что себя самих бунтари называли «новофокусниками».

Все шло как бы не совсем серьезно на фоне божьего развала; то вдруг пять-шесть человек, включая женский пол, пьют и поют, а то вдруг чуть ли не полсотни набивается, и тогда от взрывов хохота содрогается ненадежный лифт в лестничной клетке.

Недавно на заседании правления кооператива отставной активист Мешьячин потребовал немедленного выселения подозрительного Охотникова. Зловеще понятным тоном он высказался в том духе, что нельзя смотреть сквозь пальцы на тот факт, что квартира в жилтовариществе советских фотографов превратилась в пристанище для сборищ с определенной подкладкой, с сомнительным душком. Пристанище для сборищ – звучит в самом деле неплохо, и члены правления, полагая, что у Мешьячина полномочия, начали уже разогреваться для гражданского гнева, но тут председатель правления Мидасьян в обычной своей мрачной манере, глаза в пол, предложил этот вопрос снять с повестки дня, ибо он не в нашей компетенции. Членам правления из мешьячинской группировки пришлось утереться, почувствовали сразу битые шкуры, чем пахнет формулировочка.

Среди членов, конечно, присутствовал один скрытый либерал, в том смысле, что, сидя среди членов, он как бы и не являлся либералом. Однако, прогуливаясь в сумерках с либералами явными, скрытый либерал со смешком отмахивался от своего членства, шепотом, округляя глаз, говорил «скоты», выбалтывал тайны собраний.

Особенно любил «скрытый либерал» прогуливаться в сумерках с одним из заводил «новофокусников» Максимом Петровичем Огородниковым. Их, между прочим, многое связывало. Когда-то, в затуманившихся уже с нынешней позиции Шестидесятых, вместе ведь штурмовали твердыни обскурантизма, в общем-то водки немало выпили по рижским и ялтинским кабакам, а это только верхоглядам покажется ерундой, для настоящих же мужчин каждая бутылка, распитая вместе, – непреходящая ценность.

Итак... – боюсь, нередко нам придется употреблять это почти одиссеевское словечко, ибо любое отступление в прозе – нечто вроде зигзага на пути в Итаку, – итак, молодой рыжий, топчась на крыльце, обдумывал план бегства от «Скорой помощи», которая третий уже день подряд занимала одну и ту же позицию за забором новостройки напротив его подъезда.

...«Максиму же позвоню с улицы, – думал он, – и скажу, чтобы не приходил. Вот так мы и вставим шершавого по закону подполья»...

Подпольщик из этого молодца вряд ли бы получился толковый. Последующие несколько минут показали, что он все напутал, не рассчитал времени, то ли опоздал, то ли преждевременно выскочил из дому. Во всяком случае, он весьма удивился, увидев приближающуюся фигуру друга Пробкина. Филогенез фамилии этой совершенно не прослеживается, а внешность приближающегося уж никак не соответствовала здоровому корню «проб». Признаюсь, есть в этом имени некоторый элемент авторского лукавства, явное увиливание от прямого ассоциативного пути, по которому следовало бы этого нового, появившегося в промозглых сумерках персонажа назвать Развратниковым или Альковниковым. И впрямь, внешность его как бы иллюстрировала ходячий грех Москвы: красные вечно полуоткрытые губы, застойный взгляд сконцентрированных на ведущей идее современности прозрачных глаз... Веня Пробкин очень был типичным москвичом. Поиск «кайфа» и постоянная готовность к половым безобразиям – вот то, что в серьезной степени характеризует нынешних московских мужчин и начисто ускользает от западных стратегических наблюдателей.

Пробкину, так же как и Охотникову, подходило к тридцати. Он считал свой возраст юношеским, позволявшим «шалить», хотя и был уже многодетным отцом семейства: два мальчика семи и трех лет, девочка-бэби. Он ездил на тяжелом германском лимузине «Мерседес-Бенц 300» с мотором для дизельного топлива. Каким образом роскошное это «ТС» (транспортное средство) досталось Пробкину на фоне всеобщей скудости и собственного вечного безденежья, остается глухой, непробиваемой тайной. На прямые вопросы Вениамин обычно отвечал со вздохом «машина эта – горе мое», имея, очевидно, в виду общественное раздражение в кооперативе «Советский кадр». Кому завидуют, удивлялся Пробкин, мы с Машей живем на почти что одной лапше. В этом он, кажется, не лукавил: Маша, гене-

ральская дочь и бывшая красавица, и сама-то от лапшовой диеты стала напоминать лапшу – белая, длинная, с признаками уже не проходящей измученности. Конечно, соседи-завистники говорили, что измучена Маша не лапшой и даже не детишками, а самым беспредельно развратным изменником-Вениамином, но этому верить можно лишь отчасти, ибо не было у молодого человека в жизни дела более важного, чем обеспечение и поддержание семьи. Только ради семьи он и старался день-деньской по беспредельной Москве – базы, склады, телефоны, НИИ, договора на халтуру. Иной раз после очередной бордельной ночи дружки напоминали ему ради потехи о Маше, о детях. Вениамин тогда смертельно бледнел, шептал вечно красными и мокрыми губами: не трогайте семьи, гады, это последнее, что у меня осталось...

Обычная картина: Веня Пробкин в страшной озабоченности – «чуваки, пожар, я прямо с ног сбился, Машка у меня босая». В жуткой тревоге мечется Веня по Москве и в конце концов обувает измученную жену в бесценные итальянские сапоги с миланской улицы Монте Наполеоне.

Общественность все эти дела, конечно, раздражали до последней степени. Вот, вообразите, выходит голодающее семейство на воскресную прогулку. Измученная «святая» Маша в сапогах с Монте Наполеоне и в жакетке из рыжей лисы, детишки катятся колобками космической эры в ярких «лунных» бутсах, в «дутиках»-курточках, глава семьи, бледный, похмельный, терзаемый воскресной совестью, в замшевом пальто ведет огромного черного, с ярчайшими белыми зубами и сверкающими белками лукавых глаз ньюфаундленда Лонгфелло; не похоже, что чудовище на одной лапше вскормлено... Да ведь это же не забитый московский люд, сама катится международная спекуляция!

Нужно разобраться, решали после воскресных пробкинских прогулок пайщики «Советского кадра», незамедлительно нужно выяснить источники дохода, нужно сигнализировать в ОБХСС, а то и еще куда-нибудь, уж не на подкорме ли у Запада Веня этот Пробкин?

Однако в понедельник с утра Веня начинал шляться по кооперативу и просить денег взаймы – хоть рубль, хоть мелочи немного, мы на одной лапше сидим. А собака? – спрашивали соседи. А собака, товарищи, на спецучете в Министерстве обороны, мясной паек получает, не можем же мы собаку объедать, товарищи? Ты бы лучше «Мерседес» продал, ярились соседи. Придется, вздыхал Пробкин. Эта машина – горе мое. Он стоял в коридоре, облизывая губы и с какой-то жалкой жадностью заглядывая внутрь квартиры соседа, длинные волосы его свалены были в сторону, обнажая огромную царевич-алексеевскую лбину, и у соседей вдруг появилось к нему странное сочувствие. Так и возникли особые отношения, до поры до времени спасавшие Веню. Сосед, давший тройку или даже рубль, уже чувствовал себя отчасти меценатом, уже снисходительно покровительствовал тунеядцу.

Между тем в мире полуподпольного московского искусства кое-кому Вениамин Пробкин был известен как талантливый фотограф. Официально он числился в штате ежемесячника «Советский мяч», и его печатные снимки ничем не отличались от массовой продукции, но в то же время его «другие» снимки и слайды циркулировали по чердакам и подвалам, и кое-кто даже находил, что в них «что-то есть», а отдельные эстеты даже причисляли его к «новой фотографии», даже такой удостоился чести. Вот, господа, говорили друг другу эстеты, мы все теоретизируем, а в «новой фотографии» рождаются звезды даже из жуликов.

В теории, однако, была существенная нужда, ибо очертить границы «новой фотографии» пока еще никому не удавалось. Основным ее принципом вроде бы считалось то, что на одном снимке и в одном измерении некоторые детали выпирали как бы с суперреалистической четкостью, в то время как другие, видимо не интересующие художника, оказывались «не в фокусе». Трудно сказать, почему именно «новая фотография» вызывала наибольшую ярость партийных идеологов, почему именно на это расплывчатое течение ополчился удар-

ный полк товарища Саурого, отложив даже до поры привычное теснение «ретро», «классиков», «поэторитма» и других незрелых ущербных течений. Партия тоже нуждалась в теоретических, пусть даже антипартийных, работах. Чтобы хорошо бороться с врагом, надо его знать. Чтобы его знать, надо, чтобы он был.

Очевидно было, что странное это фокусирование влечет за собой искажение нашей реальной социалистической действительности, но как оно достигается, вот в чем вопрос. Увы, не объяснишь это полишинелевским секретом классиков отечественного фото Фолохова и Фаднюка, когда большой палец втихоря просовывают в проявитель и размазывают эмульсию. У этих великих товарищей все эти вихри на снимках, порывы, туманные дали являются, конечно, «новаторством», они расширяют творческую палитру (не путать с поллитрой) соцреалистического метода, в то время как злокозненные «новые фотографы» несомненно вовлечены в западный упадочный процесс, а их попытки объяснить особенности своих снимков комбинацией оптических причин с душевными являются, конечно, происками доморощенных метафизиков, которым партия объявляет бескомпромиссную войну.

Однажды в редакцию «Советского мяча» прибыл боевой отряд из трех человек райкомовских активистов. Идя навстречу многочисленным сигналам трудящихся, райком решил расследовать деятельность Вениамина Пробкина, проверить, соответствует ли он занимаемой должности, не порочит ли и в самом деле то-передовое-которому-служим.

Увы, как и предполагали сигнализаторы, иными словами стукачи, расследование оказалось делом несложным. Будто пузыри из подорванной в шведских шхерах субмарины стали всплывать на поверхность подозрительные Венечкины финансовые отчеты, фальшивые командировки, туманнейшие премиальные по сатирическому фотоконкурсу «Чик», счета за «служебные банкеты» в «Национале» и «Росфото», накладные на японском языке и прочее, прочее, даже биография «Мерседеса» на мгновение обрисовалась в тумане.

Словом, В. Пробкин горел, как швед под Полтавой, или, вернее, как русский утопал под Гетеборгом. И вдруг с партийного дредноута брошен был ему спасательный круг.

Отметуйтесь от «новой фотографии», товарищ Пробкин, разоблачите коварный ее перекося в «Фотогазете», и тогда будут забыты ваши экономические шалости. Если же не пойдете навстречу Партии, все будет передано в ОБХСС, да еще и по морально-бытовой предстанете перед общественностью, сколько по Москве женщин и девиц опоганили, товарищ Пробкин, будь ты проклят!

Мало кто думал, что полужулик Вениамин пошлет райкомычей подальше, но он это сделал. Больше того, на закрытом партсобрании заявил, что ради своего искусства, то есть ради вот именно дурацкой этой «новой фотографии», готов принять и «аутодафе».

Главный райкомыч Гибенко усмехнулся тогда этому «аутодафе», полагая, что имеется в виду автомагазин, – захотела, дескать, щука в воду, – но потом, когда объяснили, что речь идет в прямом смысле о «жертвенности», страшно взъярился и потребовал немедленного исключения Пробкина из партии. Все даже ахнули: хоть и происходило дело на партсобрании, да еще и не на простом, а на закрытом, никому почему-то в голову не приходило, что такой сомнительный человек является членом нашей родной партии.

Вот тут в данном конкретном случае, впрочем, как везде, торжествует опять закон диалектики под названием «палка о двух концах»: с одного конца членство в партии вроде бы хорошо предохраняет от ОБХСС, но с другого конца возникает малопривлекательная ситуация – беспартийный человек еще может кое-как увиливать от обэхэээсины, выпавшего из партии бросают прямо в пасть чудовища.

«Советский мяч» не долго мучился, чтобы уволить Венечку. Старик, ты же сам понимаешь, сказано было ему в хорошей московской традиции. Вернешься (в смысле – из лагерей) – заходи. Халтурой обеспечим.

Итак, безработный, беспартийный и подследственный «новый фотограф» приготовился к худшему, как вдруг все повернулось, и он повеселел.

Вдруг, прямо на перекрестке повстречался ему Олеха Охотников, с которым вместе несколько лет назад в Архангельске расширяли окно в Европу. Широкоугольной оптикой, милостивые государи, промеж ног Великого Питера. Пошли со мной, сказал Охотников, и вот Веня Пробкин обнаруживает себя в кругу людей, с которыми прежде по причине партийности и журнальности был «не очень-то», только лишь издали, на бегу – шапочкой, ручкой, левым веком, дескать, сочувствую вам, старички, но бегу, бегу, бегу. Словом, оказался в московском фотографическом «андерграунде», в зарождающейся группе «Новый фокус», в которой обнаружил с огромнейшим удивлением и былых своих кумиров, «китов Шестидесятых годов» – Максима Огородникова, Славу Германа, Андрея Деревесного, Эмму Лионель, Эдика Казан-заде...

Веня Пробкин всю свою «жизненку», честно говоря, чувствовал себя одиноким партизаном во враждебной национальной (хоть и был чистым русаком) и идеологической (хоть и происходил от завода «Пролетарий») среде. И вдруг оказалось, что целая группа тут собралась всяких отщепенцев и дерзко бросилась промышлять свою удачу в советских лабиринтах.

Какая новая началась у Венечки Пробкина «жизненка», какие воспарения! Духовная, вот именно духовная жизнь, чего прежде даже и не ведал. Употребляя смешанные напитки на незаконной квартире Охотникова, Веня смело бросался в разговоры об искусстве как о средстве тайной эзотерической коммуникации. Такая началась счастливая пора жизни! Господа, кричал Веня, пытаюсь пробиться сквозь общий гам, да знаете ли вы, что с вами я впервые почувствовал себя человеком?!

Как ни странно, и обэхэээсина отвернула от него смердящую харю благодаря «Новому фокусу». У Эдика Казан-заде оказались друзья в Центральном аппарате Внутренних дел, любители тенниса, джаза и шашлыков на ребрышках; Эдик был специалистом по всем трем видам. Нельзя сказать, что расследование вдруг автоматически прекратилось, однако повестки на собеседования приходили все реже, дело явно засыхало.

Замечательно все-таки, что у нас все-таки трудно разные вещи скоординировать все-таки, размышлял иной раз Веня Пробкин, несясь через московскую, смешанную с химической солью грязь от Фишера, предположим, Моисея к Шузу Жеребятникову, то есть «осушествляя связь».

Как, право, совсем неплохо, в целом, получается, что всю советскую систему скоординировать невозможно, в общем и целом. Вот, скажем, фишка за нами следит, старики фотари из союза ее подзуживают, шьют политику, того и гляди жутчайший идеологический скандал разразится, а полковники, предположим, из ГАИ все еще по старой памяти Деревесного Андрюшу обожают, в МВД ничего не знают, в МВТ ничего не знают, в Мосгорисполкоме ничего не знают, с ними скоординировать не успели, вот благодаря этому еще и можно жить в нашей стране. Страна технологически отсталая, вот что замечательно. Если бы у подлой власти еще и компьютеры работали, житья бы здесь совсем не стало.

Словом, В. Пробкин чрезвычайно наслаждался нынешним поворотом своей судьбы, что к тому же еще и обострялось его и в самом деле искренней готовностью к разгрому, к тюрьме, к пресловутому этому аутодафе, к потере всего на свете, даже и «Мерседеса» своего дизельного; даже блядьми своими готов он был пожертвовать ради искусства, хотя эта последняя жертва и не требовалась, к счастью или на беду.

С этим делом, с «Восьмым марта», так сказать, у Венечки все усугублялось: при виде любой бабы отпадала челюсть, увлажнялись губы, взгляд стекленел, в паху начинала сосать невыносимая тяга. Приходилось немедленно брать даму за руку.

Редко случалось, что женская особа оставалась глуха к такому мощному призыву. Чаще сдавалась, чтобы поскорее отделаться от «странного молодого человека». С каждым месяцем «жизненки» количество женских друзей у молодого таланта увеличивалось.

Редкие вечера в кругу своей «святыни» превратились для Вениамина в мучение. Маша уже ожесточалась от каждого жужжания. Веня, покрываясь потом, кося глазом-предателем, прыгал к телефону, имитировал деловые отношения, сухо уточнял адреса, по которым нужно «забрать материалы», и, уже влезая в дубленку, взывал к своей лапше: Маша, верь!

## II

Подойдя к Охотникову, Пробкин, разумеется, попросил:

– Я тебя прошу, Охотников, позвони Маше и скажи, что ты послал меня в Шереметьевку, на дачу Лионель и что я должен вернуться где-то в двенадцать, в общем не позже двух...

– Эх ты, Пробкин, опять ты за свое, – пожурил товарища Охотников. – Об искусстве, к сожалению, мало думаешь. А посмотри-ка по сторонам. Ничего не замечаешь?

Пробкин тут же и увидел «Скорую помощь» у грязного забора.

– Опять она?

– Вот именно, а к нам датчане через час приедут, а потом и Макс заявится, и Шуз, и Мойша, и еще кого-нибудь принесет... Так они за сегодняшний вечер многих пересчитают. Надо им шершавого вставить по закону подполья.

– Какие будут предложения? – с готовностью спросил Пробкин.

– А вот вытащим сейчас по мешку антисоветчины и – в разные стороны на моторах, – внес предложение Охотников. – А тот, кто оборвет хвост, вернется и примет датчан. Лады?

Конечно, Охотников опять все напутал – датчане уже заворачивали в переулок во всем блеске своего скандинавского великолепия – «Вольво-турбо» и блондинка за рулем, представители газеты «Гольфстрим».

– Разбежались? – неуверенно спросил Охотников. – Самое время, Пробкин, рвануть. Неприкрытое вмешательство мирового империализма. «Товарищи» растеряны. Мы линияем. Датчане, никого не застав, сваливают. Мы им потом звоним. Все запутывается.

– Да ты что, Охотников, – забормотал Пробкин, не отрывая глаз от приближающейся серебристой соломенно-гривой за рулем. – Вспомни, как Шуз и Макс нас учат – никогда никуда не убегайте, ничего не скрывайте. По конституции имеем право на все, что делаем. Кто это мне запретил с девушками иностранными встречаться?

– У тебя только одно на уме, – проворчал Охотников.

В сумерках махнула белая грива – флашлайт. Тоненькая девица в пиджаке с плечами, едва выскочив из машины, сделала несколько снимков. Ее оптика, конечно, интересовалась безрадостной жизнью тоталитарного общества, нашими тетушками и старушками, придурковатой девочкой, вечно тихо игравшей возле мусорных баков, лозунгом «Выше знамя социалистического соревнования!» на развалинах новостройки.

Шаг за шагом датчане приближались, девице аккомпанировал Пер Рубергардт, глава и единственный сотрудник московского офиса газеты «Гольфстрим». Наши парни ужаснейше волновались: храбрись не храбрись, но встречи с иностранными корреспондентами под бдящим оком «гэфэушки» – занятие не очень-то комфортабельное. И все же Веня Пробкин рванулся:

– May I help you, miss?

Фотографша даже чуть подскользнулась от удивления, увидев двух цивилизованных парней посреди советского старорежимья. Затем последовала еще одна вспышка, уже не фото, а просто улыбка; экие выращены в Скандинавии зубы дивной белизны!

Охотников, конечно, по соседству с девушкой начал «сгорать от смущения», не знал, куда сунуть руки-свои-крюки, как оперировать окладистой бородою. От смущения на девушку как бы «ноль внимания», как бы продолжал какой-то спор с Венькой.

– Удивлен я тОбОю, челОвек, Ох, удивлен...

Проклятый Венька между тем на удивление бегло шпарил по-европейски: вот тебе и урок, растяпа Охотников, поморская интеллигенция, город Архангелов, смотри – простая московская фарца преодолевает языковой барьер даже без помощи алкоголя.

Наконец, закрыв свою «Вольво» на все замки и «секретки», подошел Рубергардт и тут же без всяких опять же комплексов неполноценности зачастил по-русски, рассыпая где попало предлоги и наречия, крутя деформированные существительные вместе с исковерканными глаголами, шепелявя еще по-чухонски, но с какой-то галльской прытью и все-таки абсолютно понятно.

Фотографша только утром прилетела из Копенгагена: Рубергардт писал очерк о подпольном советском искусстве и запросил свой «Гольфстрим» – пришлите Нелли, как можно скорее, мы давно уже не виделись.

Как хорошо, что не слиняли, подумал Пробкин. Есть хороший шанс познакомиться поближе со скандинавским коллегой. Тут у него сразу засосало где полагается, и, оттирая друга локтем, он повел датчанку в дом, быстренько на ходу иронизируя по поводу советской действительности, особенно по поводу вот этой «Скорой помощи», которая, вообразите, мисс, уже три дня не двигается с места, а там внутри четыре жлоба сидят с квадратными будками, у них там, наверное, какая-то звукомашина, они, должно быть, все записывают, что у нас в штабе «Нового фокуса» происходит, вообразите, мадам, а там, между прочим, живет мой друг Охотников, вот именно этот, вообразите, «ле мужик», и теперь вы можете себе представить звукозапись всех этих охотниковских звуков, вообразите, как опытные специалисты потом анализируют все звуки Охотникова, ей-ей, можно им посочувствовать...

Охотников, улавливая свое имя в безобразной англо-франко-немецкой тарабарщине друга, еще больше дичал, косил глаз на датчанку, грудью наваливался на датчанина, бухал что-то о русских артистических потенциях, о спиритуальном возрождении, об обнадеживающих письмах с Севера.

От машины до квартиры датчане продвигались не менее четверти часа. Фотографша уже нервно хохотала, чувствуя, куда клонит Пробкин. Такая датчанка, конечно, может взбудоражить московский квартал, что и произошло у четвертого корпуса жилтоварищества «Советский кадр». Жители иные шарахались в сторону от живописной группы опасных людей с хохочущей блондинкой посредине, иные проходили нарочито близко, сурово глядя в упор на распоясавшуюся и совершенно не замечающую их бдительности международную молодежь; и зачем таких в нашу столицу пускают?

В конце концов, размахивая руками, говоря одновременно и не слушая друг друга, четверо вошли в квартиру беглеца Пивоварова, где в эти дни уже помещался на рабочем столе в углу огромный, как могильная плита, макет неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!».

Разглядев фотографии на стенах и просунув палец меж страниц в полумифический альбом, датчанка осознала, что она в компании мастеров, титанов фотоискусства и ей, скромной газетной фотографше, вроде бы надо судьбу благодарить за удачу и давать по первому запросу.

Между тем звонок в спорной квартире не замолкал, и двери, как обычно, хлопали непрерывно – «новофокусники» собирались для вечернего «общения». Явились Цукер с очередной женой, Шуз Жеребятников с бутылкой «Российской», Стелла Пирогова, конечно же, с яблочным пирогом. Потом пошло все гуще и гуще – Эмма Лионель с Гошей Трубецким, Фишер, Фридман, молодой Васюша Штурмин, а потом рука об руку, дыша коньячными туманами, Слава Герман и Георгий Автандилович Чавчавадзе. Все понемногу чего-нибудь приносили. Все, как обычно, несли несусветную крамолу и похабщину, ну, и пальцем показывали в потолок – дескать, там слухач. Хотелось дать понять иностранцам, в каких условиях приходится жить советскому интеллигенту и как он дерзостно на эти условия плюет. Иностранцы, конечно, понимающе кивали – в чем в чем, а в наличии «слухача» они не сомневались, он там, добавим от себя, действительно был, иначе на что существовало подразделение генерала Планщина: ударение иногда ради собственного удовольствия мы будем ставить на последнем слоге родительного падежа.

А где же Макс, интересовался Рубергардт. Именно с Максом Огородниковым, знакомым уже читателям газеты «Гольфстрим», надлежало ему сделать основное интервью. Надеюсь, придет?

Придет, придет, с готовностью подтверждал Пробкин, оглаживая под столом оробевшие скандинавские коленки.

Стекла в маленькой квартире запотели от горячих пельменей. Охотников и Фишер жарили их на сковороде величиной с колпак от автомобильной шины. Жарка шла по собственной методе – пельмени в сыром виде вываливались на сковороду, сверху бухалось полкило маргарина. Как повалит от сковороды дым – пельмени готовы.

На столе имела место умопомрачительная коллекция напитков – «Солнцедар» за 1 руб. 85 коп. и «Кавказ» за 2 руб. 38 коп. соседствовали с двенадцатилетним «Chivas Regal».

– Это нам вчера ребята из «Нью-Йорк таймс» привезли, – объяснял Шуз Жеребятников Рубергардту. – Извинились, что не успели заехать в «Березку» за датским, то есть вашим, твоим, так твою, Рубер, пивом «Туборг». Извините, говорят, вот всего лишь одна бутылка «Чиваса». Но мы, господа, и этой бутылке рады. Понимаешь, Рубер? Мы рады всему доброкачественному, потому что обычно вынуждены пить сущую отраву, продукты распада социалистической системы...

– А где же господин Огородников? – вновь спрашивал датчанин, нимало не смущенный намеками Шуза.

– Будет, будет, – успокаивали его. – Можете пока преспокойно слетать в «Березку» и обратно...

## Ого

### I

Тот, о ком все время спрашивают и кто однажды уже мелькнул в самом начале нашего повествования с рифмованным вздором на устах, между тем прогуливался совсем неподалеку в темном переулке между первым и вторым корпусами «Советского кадра».

Максиму Петровичу Огородникову было несколько за сорок, и в те моменты, когда его долговязая фигура попадала под свет единственного в переулке уличного фонаря, можно было разглядеть его крупный нос и пушистый под носом пеговатый ус. При более длительном экспонировании, несомненно, бросилась бы в глаза довольно отчетливая наглость всех черт и примет, свойственная, впрочем, многим баловням судьбы и звездам современного искусства. Бросилась бы в глаза и некоторая странность: весь удлиненно-костлявый тип артиста был на удивление изменчив – за пять минут в нем мог промелькнуть то почти старик, то еще юноша, то какая-то рассеянная растяпа, то сконцентрированный атлет.

Пока, однако, мы этими пятью минутами не располагаем и видим только, как время от времени под единственным фонарем появляются крупноватый нос и пушистый ус, выглядывающие из-за поднятого воротника лондонского плаща.

Переулок этот излюблен скрытыми либералами для совместных, как бы между прочим, моционов с шепотком через плечо «а вы слышали, братцы-кролики?». Один из таких «либералов» как раз и сопровождал в данный момент Макса Огородникова, вернее, как бы прогуливал его, крепко взяв под локоть и обдавая снизу левую щеку артиста горячим концентрированным шепотом. Он подцепил Макса как бы случайно – «Ба, кого я вижу! У тебя есть пять минут?» – и повел в переулок, горячим шепотом повествуя и округляя смешком – скоты, ты же понимаешь, настоящие скоты! – недавнее заседание правления кооператива, на котором Герой Советского Союза Мешьячин предложил выгнать Олеху Охотникова из квартиры «невозвращенца» Пивоварова, а квартиру, ставшую «прибежищем для сборищ с подозрительным душком», опечатать. Самое же замечательное, Макс, состоит в том, что наш мрачный Мидастьян тут же снял вопрос, потому что он не в нашей, ты понимаешь, не в нашей компетенции. Ты понимаешь, конечно, старичок, в чьей он компетенции?.. К удивлению либерала, Огородников только хохотнул в ответ на важное сообщение. Он и не сомневался ни минуты, что квартира заклопирована и окружена тихарьем. Странно только, почему гэфэушка так долго смотрит и ничего не предпринимает. Наверное, задумали какую-нибудь гадость сверх всяких ожиданий. Впрочем, хер с ними.

– Позволь? – быстро спросил «либерал».

– Хер с ними! – повторил Огородников не без удовольствия. – Надоело все время о них думать. Они для нас просто не существуют. В общем и целом, мы на них кладем.

– Брось, брось, старичок, – зашептал тогда «либерал» еще горячее, еще плотнее беря Макса под руку, увлекая поглубже в тенистые углы, в неприглядную мглу московского фотографического мира. – Тебя здесь любят, старичок, тобой дорожат, не надо так разбрасываться...

– Хорошенькое дело – любят, – ощерился тогда под усами Огородников. – Все альбомы мои зарубили один за другим, журналы снимков не принимают... Думаешь, я не петрю, чей это почерк? Вот и выставку мою отложили на неопределенное время, все мои поездки – в жопу, можешь поздравить, я уже *невыездной*, почта из-за границы блокируется, телефон на прослушивании... хорошо *тут* мной дорожат, спасибо за такую заботу!

«Либерал» смотрел на него полным глазом. Такие прогулки в темноте по заставленному полуфабрикатами переулку имели еще и второй смысл, не говоря уже о третьем; и Огородников знал, что «либерал» может вот в таком же стиле с кем-нибудь «оттуда» прогуляться, и «либерал» догадывался, что Макс знает, а потому прогулки такого рода были как бы контактным звеном между опальным фотографом и могущественными невидимками идеологического сыска.

– Однако ведь не собираешься же ты?.. – еле слышно или совсем неслышно, одной лишь артикуляцией рта, просто лишь округлением и без того круглого ока, поворотом этого округлившегося до предела органа спросил «либерал».

– А вот именно собираюсь! – громогласно на всю Ивановскую заявил Огородников. – Вот доведут до ручки мерзавцы, я тогда и *намылюсь!*

– Ну, разбежались? – тут же предложил «либерал», предварительно хмыкнув и цыкнув углами рта в щели переулка, и тут же чесанул под фонарь, под арку, мимо аптеки, в подъезд, в холостяцкую свою квартиру.

Там, в «хавирке» (как он любил называть свое жилье), плюхнулся на тахту, укутал ноги венгерским пледом, попросил у няни (имелась такая няня Ревекка Мироновна) стаканчик югославского пунша, придвинул чехословацкий телефончик, набрал номер друга, доверительного человека, умницы, профессора-киноведа, и между делом, как бы проездом, рассказал ему о намерениях Макса Огородникова «забросить чепчик за бугор».

Между тем Максим Петрович Огородников тоже прошел между корпусами, но в другом направлении, затем вышел на перекресток и поднял трость, подзывая такси. Для того и трость была заведена, чтобы, соответствуя какому-то заграничному черту, можно было в мглистый осенний вечер выйти на перекресток и «поднять трость, подзывая такси».

Фиксируясь с поднятой тростью, он воображал, как его только что высказанная идея «намыливания» уже прыгает сейчас из телефончика в телефончик и как возбуждены будут сегодня вечером заинтересованные лица.

За спиной у него был подъезд номер 3 и запаркованная рядом журналистская «Вольво», а также покосившийся забор новостройки и недреманная «Скорая помощь», внутри которой мерцали три сигаретки. Огородников стоял прямо под фонарем, не прячась, а, наоборот, как бы показываясь, потому что принципиально отвергал слежку. Пусть подонки сами нарушают нашу советскую конституцию, а мы не будем. Ничего тайного не делаем. О «Новом» и о «Скажи изюм!» и я, и Шуз, и все ребята треплемся на всех углах; только ленивый об этом ничего не знает. Гэфэушники, устроив слежку, как бы навязывают нам конспирацию. Вот хитрожопая компания, в самом деле неплохо придумано. Сизый Нос начни потихоньку следить за кем-нибудь, и тот поневоле становится заговорщиком.

Максим нарочно торчал под фонарем, кричал «такси-такси», начал даже слегка жонглировать своей уникальной тростью, чтобы его заметила сегодняшняя бригада. Мысли его в данный момент странно противоречили собственным принципиальным установкам.

Пусть, сволочи, запутаются, если уж датчан выследили. Наверняка ведь думают, что я должен быть у Охотникова, а я вот на такси куда-то уезжаю. В погоню, господа гвардейцы кардинала!

Только уже плюхнувшись в такси, он сообразил, что принял игру, что они его «сделали», включили в свою диспозицию. Уж если их замечаешь за собой – скрывайся от них или не скрывайся, все одно: ты играешь в их игру. До сегодняшнего вечера я делал вид, что не замечаю их, но с этого момента что-то изменилось.

Он разозлился на себя и повернул голову, ожидая найти за собой слежку, однако «Скорой помощи» за хвостом такси видно не было, да и вообще ничего похожего – перся автобус номер 70, а за ним, конечно, угадывался самосвал. Словом, и игра была постыдная, и первый ход в этой игре оказался дурацким и нелепым.

Чуть не замычав от злости, похожей на острую зубную боль, он откинулся в кресле такси и попытался вызвать в памяти что-нибудь антизлобное, ну, например, площадь Оперы в Париже.

Вот вам, пожалуйста: прозрачным осенним «апрэмиди» иду так себе по делам, отчасти просто так по авеню Опера и захожу в «Кафе де ля Пэ» посмотреть, нет ли мне там писем. Чудесная сохранилась в этом кафе девятнадцатого века традиция: завсегда там находят письма на свое имя на висящей у входа доске, обтянутой зеленым сукном и снабженной особыми металлическими прижимами, под которые как раз и засовывается корреспонденция.

Почему-то именно осенью мучительно тянет в Европу. Поставить треногу перед входом в Жарден Тюильри и делать ленивые снимки проходящего момента парижской вечности. Вот странность – от Мавзолея Ленина, равно как и от пирамиды Хеопса, разит брэнностью и распадом. Ворота сада Тюильри вносят некоторый смысл в цивилизацию, намекают на что-то не-пре-хо-дя-ще-е...

Унтер-ден-Линден, бегом, бегом, ползком под колючей проволокой, переваливаешься брюхом через закругленную часть Берлинской стены и вздыхаешь с преогромнейшим облегчением и детской радостью – опять утек!

Ну, а почему же так и не «утек» в свои любимые осенние края, когда столько было возможностей? Потому, что кроме осени с ее европейской ностальгией есть и другие времена года... о да... Откуда все это взялось, почему для меня Европа – такой родной дом? Впрочем, родитель-то, Петяша Огородников, кандидат в члены ЦК РСДРП, вместе со своим старшим товарищем Володей У. был самой обыкновенной эмигрантской сволочью, не так ли? Оттуда, что ли?..

Теперь мне Европы не видать. «Уже развел руками черными Викжель пути...», как в школе учили. Теперь они меня не выпустят, разве что по стопам папаши, в эмиграцию. Там, кажется, у вас и детки уже есть на буржуазных просторах, Максим Петрович? Счастливым путем и постарайтесь забыть свою родину, ибо здесь, кроме вас, еще кое-кто родился. Социализм, например. Оцените гуманизм современных ленинцев – вас не сажают, не расстреливают, а просто под жопу коленкой по собственному желанию... Р-р-р, зубная боль возвращалась, только лишь растравленная парижскими картинками. Всю жизнь под властью этих сук?! Всю жизнь с неестественно зафиксированным поворотом шеи и головы, полуувечным гандикапом проклятого режима? Хер вам, никакой эмиграции от меня не дождетесь!..

– Хер вам! – вдруг вырвалось у него.

– Правильно, – пробурчал шофер такси.

## II

Пока он едет, предаваясь зубной боли, оперативная группа генерала В. К. Планщина оперативно трудится на благо народа – в частности, держит связь с транспортным средством «Скорая помощь», так и оставшимся стоять у разрушающейся новостройки.

Капитан Сканцин Владимир, непосредственно курирующий одного из лидеров «Нового фокуса» М. П. Огородникова, осторожно косясь на шефа, тихо материт другого капитана, Слязгина, уже восьмой час сидящего в «рафике».

– Да заберебись ты, Слязгин, со своими датчанами, напареули по гудям! Как ты мог Огородникова-то упустить? Теперь он целый вечер один будет ходить, жопа с ручкой ты такая, в самом деле, Николай...

– Много себе позволяешь, расшиздяй Сканцин, – рычит в ответ Слязгин, даже зубами похрустывая в адрес проклятого генеральского любимчика.

Капитану Слязгину очень обидно. Без году неделя в «железах» Сканцин-сучонок в теплом кабинете изучает фотоискусство, на выходах работает по ресторанам «Росфото», ВТО, ЦДЛ, ЦДЖ, а ему, опытному сотруднику, приходится по 12 часов торчать в сраном «рафике», записывать на дорогостоящую японскую пленку дурацкую болтовню этих «изюмовцев», «новофокусников», или как там еще зовут этот сброд, который давно надо было бы попросту передать, а не тратить силы и средства. Нетворческая какая-то получается работа, брошу все, махну на БАМ...

– Гудила ты, Николай, – говорит в рацию Сканцин. – Разъедай и гудила...

Генерал Планщин тем временем, делая вид, что не слышит матерщины любимого помощника, делает пометки в бумагах, передает какие-то листы своим хлопцам и девушкам и одновременно говорит по телефону, то есть хмыкает то вопросительно, то утвердительно или рассеянно мычит.

Вдруг генерал встал, подошел к Сканцину, нажатием кнопки прекратил перепалку двух способных специалистов.

– Есть новости, – сказал он. – Огородников решил эмигрировать.

– Да как же?! – воскликнул Вова Сканцин, глубоко пораженный и взволнованный. – Как же так, Валерьян Кузьмич?! Ведь только же начали с человеком работать ж!

Он был искренне огорчен, даже руки задрожали. Хорошо бы сейчас «добрую стопку коньяку», как Валерьян Кузьмич выражается. До боли обидно, между прочим, терять человека – специалиста по фотографии. Только начали ведь работать с человеком, и работа была интересная, творческая. Курировать такого человека, как Максим Петрович Огородников, – все равно что заграничную книжку читать в хорошем переводе, «Над пропастью во ржи», так сказать. Конечно, обидно, что такой человек вот поставил свой талант на службу мировой реакции, но ведь в противном случае никакой и работы ведь не было бы, прав я или нет? А если копнуть, между прочим, в творчестве, то можно найти и здоровое зерно. Вот в цикле «Братск» какие охуенные показаны самосвалы – такая поэзия, в общем-то, труда, в принципе, какой-то исторический оптимизм, товарищ генерал...

– Мда-а, – задумчиво протянул генерал Планщин. – Что-то слишком просто получается с эмиграцией-то...

– Вот именно! – с энтузиазмом откликнулся капитан Сканцин. – Как-то простовато! Какой-то нолевой вариант, Валерьян Кузьмич. Сравните хотя бы внешность Огорода с основной массой. Напрашивается что-нибудь посложнее, Валерьян Кузьмич.

До чрезвычайности взволнованный Володя отошел к окну. Смешно сказать, и получается вроде как бы «слишком в лоб», но из окон кабинета были видны рубиновые звезды Кремля. Володя сморщил пасть, вспомнив «основную массу» Союза фотографов, которая

с таким сладострастием стучит друг на друга, а ряшки носит такие, что с утра лучше не показывать.

– Мда-а, – еще более задумчиво протянул генерал. – Слишком простое решение...

### III

Однажды Огородникову было сказано: у вас, Максим Петрович, большое есть перед многими коллегами вашими преимущество – такие у вас прослеживаются замечательные, истинно советские корни!

Не было темы более отвратной, более презренной для человека, который и год своего рождения неоднократно проклинал, чем его пресловутые корни, а между тем они действительно были, хоть и неглубокие, но крепыши, уходящие прямо под кожу партии, а следовательно, и народу, ибо известно, что «Народ и Партия – едины». Папаша-то, старбол, Петяша-то, происходил прямиком из ленинской гвардии, не раз пикничковал вместе с основателем на лесопилке Лонжюмо. Прочной кости оказался человек – прошел невредимо через коллективизации и реконструкции, как говорится, от Ильича до Ильича, по ведомству «самого острого оружия Партии» и в огромных чинах почил десятилетие назад. А вот тому назад некоторое время, а именно в начале 1937 года из Гаража Особого Назначения пришла к товарищу Огородникову новая персональная машина, «Паккард» последней модели, а за рулем сидели кадры новой генерации, юная блондиночка с невинными кудряшками, так восхищавшими в те времена стареющих номенклатурных бойцов. И вот, как раз к концу этого «паккардовского» года, который теперь наш герой в подпитии иногда называет «проклятым» и «Варфоломеевским», как раз и появился на свет божий ребенок, немедленно названный Максимкой; скорее всего, вслед за обожаемым отцом социалистического реализма, недавно почившим с шоколадкою в руке.

Мадам Огородникова, хоть и забыты уж паккардовские кожаные кресла, и по сей день «не спит, встает, кудрявая», полна энергии, вечная цыпочка и основательный автор по вопросам морали, не исключено, что в больших уже чекистских чинах. Нередко, брэнча медальками, появляется она на экранах телевизора, обычно это какие-нибудь юбилеи, чаще всего фронтовые, а ведь она прошла адъютантом члена Главполитупра Огородникова большие дороги Смоленщины, и, поднимая глазки кверху, с «волнительными» интонациями рассказывает о фронтовой молодости, ни разу не покраснеет.

Увы, для Максима в последние годы мать так и превратилась в какую-то чуть ли не «телевизионную дурочку», да и второго своего ближайшего родственника Октября, старшего брата по отцу, он в последние годы лицезрел тоже в основном на «голубом экране».

Октябрь Огородников был фигурой не без загадочности, международный комментатор, годами сидящий то в Бразилии, то в Соединенных Штатах, то располагающийся со всеми соответствующими причиндалами в Париже. Внешность его излучала определенную мощь, настоящий аккумулятор партийной энергии. Обычно он возникал на экранах в периоды драматических конфронтаций сил мира и социализма с силами войны и реакции, веским тоном обрисовывал ситуацию прямо с передовых позиций, то есть либо рядом с Триумфальной аркой, либо на фоне Капитолия. Вранье Октября ничем, скажем, не отличалось от обычного газетного и телевранья, однако зрители считали его каким-то особенным человеком, источником какой-то особенной информации.

К матери своей Максим никогда серьезно не относился, а вот старшего брата в отдаленные времена ранней юности, или, как сейчас говорят, «тинэйджерства», едва ли не боготворил. Собственно говоря, именно Октябрь и привил ему начальную тягу ко всякого рода машинам, которая потом перешла в фотострасти.

Какие вообще-то были чудесные времена, наивнейшее начало советских пятидесятых! Два брата из высокопоставленного общества, один долговязый подросток, другой молодой красавец мужчина, по очереди управляли огромнейшим «ЗИСом-110», часами возились в его моторе, напоминавшем электростанцию Днепрогэс, упоенно оперировали различными

«трофейными» и «репарационными» зеркалками, всякими там «кодаками» и «практикаматами»; теория и практика, настоящая мужская жизнь, включавшая и всяческий моторный спорт, и парус на воде, и буер на льду. Говорили они в те счастливые времена очень мало, да и слова не требовались – движение заменяло слово, схема мотора или радио калькировалась на «все дела».

Вот вам, к примеру, сцена летом 1952 года по дороге на Барвиху. По новому гладкому шоссе (конечно, засекреченному, стратегическому, построенному немецкими военнопленными для соединения «госдач» со столицей) едут два полубрата в открытом лимузине. На заднем диване марокканской кожи сидит предмет, на зависть Голливуду, девушка-стиляга по имени Эскимо. Ноги – дай боже! Никто не разговаривает по пустякам. Октябрь занят рулем, вписывается в виражи, сквозь зубы насвистывает нечто подходящее к тоненькой ниточке аккуратно подстриженных усов – слоу-фокс «Гольфстрим». Пятнадцатилетний Максим приспособливается щелкнуть «лейкой» в боковое зеркало девушку Эскимо (прозвище подразумевает, конечно, сорт мороженого – пальчики оближешь, а не определенный народ Севера) и воображает уже потрясающий кадр, на котором выйдет вперед сногшибательная коленка «барухи» и уйдет в глубину ее круглое личико с большим презрительным ртом. «Баруха» же молчит, во-первых, потому, что разговаривать не с кем, а во-вторых, потому, что вообще неразговорчива.

Милиция на пересечениях дорог козыряет. Покачиваются сосны. Где-то слышится пионерский горн. Разворот с визгом шин вокруг скульптуры «Три оленя». Октябрь недовольно покачивает головой: визга быть не должно. Еще раз прокручиваемся вокруг «Трех оленей», на этот раз плавно и стремительно. Вкатываемся в ворота дачи. Ба, во дворе друзья – юноши из дипсемей Громыко и Царапкин. Привезли на буксире лодку с новым американским мотором «Меркьюри». Нужно разобраться. Лады. Мы втроем на озеро, а ты, Эскимо, поучи пацана науке страсти нежной. Октя-я-брь, обиженно тянет девица, но получает в ответ только отдаляющиеся звуки «Гольфстрима». Лады, говорит она. Пошли, Максим. И дальше спотыкачем через многоточие...

К вечеру ошеломленный любовью Максим отвозит Эскимо на мотоцикле в город, по возвращении видит на веранде усталых, но довольных друзей уже с новыми девушками. Славик Громыко учит компанию танцевать буги-вуги. Какой ритм, какой каскад, о Соединенные Штаты Америки!

Октябрь при виде брата вопросительно поднимает бровь.

– Октябрь, она удивительная, – не без придыхания шепчет вчерашний мальчик.

– Давно видел, что ты на Эскимо подрачиваешься, – улыбается Октябрь. – Поздравляю. А теперь посмотри, какую машину привез Царапкин.

У Максима подкашиваются ноги – на столе новенький американский магнитофон размером не более стандартной радиолы!

Осенью того блаженного года в «Вечерке» появился фельетон про столичных стилияг под заголовком «Плевелы». Доставалось там в основном сыновьям академиков, но и сын «самого Огородникова» был хоть и глухо, но упомянут.

В семье произошел, по выражению Октября, «страшный хипеж». Папаша колотил кулаком по красному дереву и орал о «предательстве идеалов». Вскоре после фельетона Октябрь исчез, ничего не сказав Максиму. Мамаша пожимала плечиком, зная, мол, ничего не хочу – то ли на Камчатку за длинным рублем направился, то ли в какую-то военную школу поступил. Папаша только хмыкал – посмотрим-посмотрим, может, еще и человеком станет, плевел несчастный.

Через пару лет Октябрь вернулся. Все вроде бы осталось по-прежнему – машины, фото, девушки, джаз, но кое-что и прибавилось – например, великолепный появился английский. Он стал международным журналистом и быстро, год за годом, выходил в первые номера,

становился членом всевозможных редколлегий и ученых советов, дослужился даже до депутатства в Верховном Совете СССР. Впрочем, большую часть времени он проводил за границей и однажды «под баночкой» признался Максиму – больше месяца на родине социализма не вытягиваю и, честно говоря, не представляю, как здесь люди живут. Максим тогда посмотрел на брата через прицел своей камеры, и ему показалось, что почтенный международник как был, так и остался стилигой Пятидесятых годов; вот и волосы, еще довольно густые, зачесывает с намеком на «канадский кок» и курит «Кэмел» без фильтра, хрустальную мечту плевелой молодости.

Что же касается статей Октября Огородникова, то они даже среди обычной профессиональной продажности отличались особенной ложью, хотя и пестрели так называемыми «детальками», как бы направленными к элитарному читателю. К «леваческим», как он выражался, делам Максима Октябрь поначалу относился с прежних позиций, усмешливо, как к ребяческим проделкам, однако год за годом, по мере того как Максим все больше «антисоветчиной зверел» (тоже собственного октябрьского изготовления метафоришка), они все больше и больше отдалялись друг от друга.

Иногда Максим узнавал через третьи руки, что приезжал Октябрь в отпуск и даже с матерью, то есть с мачехой своей, встречался, даже и первую жену Макса навестил и привез какие-то подарки, а вот брату, понимаете ли, не дозвонился... Впрочем, бывает ведь и так – суета, суета...

## IV

А как вообще-то получилось, что столь известный советский фотограф стал, можно сказать, диссидентом? – такой вопрос обсуждался не раз московскими либерально-художественными кругами по мере того, как развивалась эта история. Ведь был когда-то членом правления ЭСЭСФЭ, даже, кажется, лауреатом премии Ленинского комсомола...

...А кто тогда в комитете премий-то сидел, сплошные ведь леваки, – возникало тут мнение проницательного наблюдателя. В сущности, товарищи, Макс Огородников прошел вполне естественный путь развития. От фрондерства к диссидентству, согласитесь, прямая дорога. Странно, что власти с ним так долго тютюкались, вот что странно...

Все это по новой моде высказывалось таким тоном, что невозможно было понять, на чьей стороне симпатии дискуссантов.

...В самом деле, ведь столько лет он и его друзья буквально ведь на грани... порой, знаете ли, все это творчество казалось просто шельмованием власти, а между тем до последнего же времени причисляли же это к своему, к... так сказать, нашему достоянию... странно, что так долго пользовалась эта группа официальным доверием...

В конце концов в таких дискуссиях все-таки происходила еле заметная расстановка: одна сторона как бы ставила под сомнение прежние официальные позиции «этой группы», другая же сомневалась в неконформистских качествах.

...Позвольте, позвольте, что же в этом странного? Вспомните первые альбомы Огородникова, Германа, Древесного, все эти репортажи с великих строек коммунизма...

Тут вдруг подключался кто-нибудь, только что «принявший коньячку», ибо дискуссии такого рода чаще всего происходили в домах творчества «Проявилкино», «Фэдино», «Раскадрож», где с недавнего времени в буфетах снова была разрешена продажа крепких напитков.

...И между прочим, интересные, свежие, искренние были эти первые альбомы! Очень отличались от обычной казенщины. Вот как раз у Огорода, помните, сцена драки в очереди за шампанским! Какая лепка лиц, характеров...

...Что же, вы скажете, не снимал он эти плотины, самосвалы, экскаваторы?..

...А разве их там не было? И разве не возникало в этих альбомах ощущение странной бессмыслицы?..

...Внимание, братцы-кролики, к нам приближается Кесмеционкин. Давайте-ка лучше поговорим о бабах!

## V

За полгода до этого мглистого вечера... Какого еще мглистого вечера? – спросит читатель. Он давно уже потерял в кулуарах романа заляпанную грязью «Волгу»-такси, а между тем она все едет сквозь этот мглистый октябрьский вечер, пересекает площадь Сокол, проезжает мимо аэровок-зала, стадиона «Динамо», и нахохлившийся Макс Огородников сидит рядом с водителем, тухлым глазом смотрит в не очень-то отдаленное прошлое: полгода назад.

Зазвонил тогда, майским утром, телефон. Огородников сразу почувствовал – какая-то подлянка. У человека с его телефоном, конечно же, развивается некоторый интимный контакт. Коммуникационной машине ничего не стоит предупредить хозяина о подлянке. Звонок звонку – рознь. Сразу же можно понять, друг ли звонит или какая-нибудь подлянка. В общем-то, оказалось – ничего особенного, просто некто Владимир Сканщин из ГФУ; ну, все равно как «гутен морген, это вас из гестапо беспокоят». Голос в трубке напоминал знакомого хоккеиста из соседнего подъезда, такой разбитной москвич.

– Вы меня, по идее, должны знать, Максим Петрович.

– Не имею чести, – согласно литературным традициям (жандарм и присяжный поверенный) ответил Огородников. Какой удалось найти нужный, одергивающий тон, несмотря на мгновенное сжатие кишечника.

– Да разве ж вам, Максим Петрович, меня в «Росфото» не показывали?

Огородников, хотя и высокомерно хмыкнул, сразу же вспомнил – показывали. Вспомнилось в ресторане неопределенное блондинистое лицо за чайным столом – с пирожком во рту. Консультантша секретариата Лолочка, вечная травестюшка с челочкой, привстав на цыпочки и упираясь вечно крепенькими шишечками в руку, вечно ароматным шепотком в ухо:

– Максуша, хочешь покажу твоего *куратора*?

Огородников был уже наслышан, что в последнее время целое подразделение гэфэушников, молодые люди в замшевых пиджачках, с обручальными кольцами на лапах, повадилось целыми днями заседать в баре, буфетах и ресторане знаменитого клуба Москвы. Потягивают коньячок, дымят американскими сигаретами и не только не скрываются, как прежде, а, напротив, подчаливают с интеллектуальными беседами и представляются в открытую, такой-то и такой-то, сотрудник ГЭФЭУ. Вот замечательные шаги социалистического прогресса – теперь тебе не надо гадать, кто твой *куратор*, теперь тебе его просто покажут, твоего личного специалиста-лечебника, просто-напросто твоего политического врача, иначе как же прикажете понимать слово «куратор»?

И Лолочка, верный товарищ «четвертого поколения советских фотографов» по столику и постели... – теперь-то, после напоминания о показе, уж не осталось и малых сомнений, кто таков этот бойкий дружок...

– Надо бы побеседовать, Максим Петрович, – хорошо отработанным на оперативных курсах голосом сказал Вова Сканщин. Он стоял в этот момент с телефонной трубкой в кабинете генерала, старший товарищ непосредственно наблюдал начало операции.

Обычно, по науке, люди ужасно «пужались» таких приглашений, это немедленно ощущалось через телефонный кабель. Первый телефонный звонок из «желез» – это всегда полдела, так учил Володю старший товарищ В.К. Планщин. В данном-конкретном, фля, что-то с этой половиной дела не очень-то получалось. Обычно так поднажмешь чуть-чуть голосенком, и клиент плывет, любому можно назначать свидание в гостиничном номере, как бляди. Данный-конкретный, однако, высказался в том направлении, что, хотя, по его мнению, у них нет общих тем для беседы, он, хорошо, согласен *принять* — принять, товарищ генерал! –

Сканщина с товарищем у себя дома. Вы же слышали, Валерьян Кузьмич, каким тоном разговаривает Огород, как будто ему и не из «желез» звонят, а какие-нибудь «фотилы» со своими альбомчиками к классику напрашиваются. Ведь подумать только, товарищ генерал, даже «товарища» поставил под сомнение. С каким, говорит, товарищем? Даже и не на сегодня назначил, товарищ генерал, а на послезавтра, а уж про гостиницу-то я и не заикнулся, товарищ генерал, при такой постановке вопроса. Вот вы говорите, Валерьян Кузьмич, что у них в такие моменты адреналин выделяется, а я этого что-то не заметил...

Молодой специалист В. Сканщин напрасно все же усомнился в эрудиции старшего товарища. Адреналин выделялся, между нами говоря, однако Огородников настолько оказался хитер, что запасся седуксеном, к приходу офицеров успел уже проглотить три таблетки и слегка задремал.

В назначенный час офицеры в отлично пошитых костюмах и галстуках явились «на прием». Фотограф открыл им дверь, обнаружив себя в джинсах на подтяжках и шлепанцах, и прикрыл ладонью рот, неумело скрывая зевок. Позднее Огородников сам удивлялся, как это ловко у него получилось. Смешно сказать, но именно они, а не он выглядели в момент встречи растерянными. Впрочем, может быть, просто тактику переменили, предстать в смущении – простите, так сказать, за вторжение в творческую лабораторию... Уж поверьте, не стали бы тревожить вашу творческую лабораторию, если бы...

– Да это у меня просто кабинет, а вовсе не лаборатория, – все еще как бы борясь с зевотой, обманывая, скорее всего, самого себя этой простодушной сонливостью, сказал Огородников. – Лаборатория совсем по другому адресу.

– Хлебный переулок, дом семь, квартира двадцать, правда? – выпалил В. Сканщин.

В.К. Планщину только и осталось поморщиться и выразительно посмотреть на младшего партнера: экий болван, опять не по делу употребил хороший отработанный десятилетиями прием. Да разве эту хитроглазую бестию поразишь такой информацией? Только лишь посмеется над молодежью.

– А вы разве у меня были там?

– Володя пошутил, Максим Петрович. Это мы ведь просто фигурально про творческую лабораторию. Просто в том смысле, что не явились бы, если бы не чрезвычайные обстоятельства.

– Извольте, вот сюда, вот кресла, садитесь. – Огородников плюхнулся в свое любимое, и вдруг его продрало по коже ощущение дичайшей неуместности всего того любимого, привычного, что сейчас его здесь окружало.

Здесь сейчас предполагаются голые стены, а не македонский мохнатый ковер, привезенный лет пятнадцать назад из Скопле. В лучшем случае (или в худшем) портрет Рыцаря Революции, но уж не снимки же диссидентов: Солженицын с детьми, туман и в тумане контур церкви Преображения; Сахаров на берегу моря в Сухуми, босые ноги на гальке. Вот и фотографический главный диссидент Алик Конский присутствует и снят по месту ссылки, Сохо, Нью-Йорк, какие-то рожи в масках за спиной, карнавал, надменная ухмылка, так раздражавшая «железы» в Москве, еще, по крайней мере, пять или семь отпечатков с персон, «железам» весьма известных, а вот и одно из самых любимых произведений – толпа перед зданием суда во время процесса Гинзбурга и Галанскова, это был момент, когда на перекрестке завизжали тормоза и все, диссиденты и «железушники», повернули головы в одном направлении.

Голых баб на стенах кабинета, в отличие от стен настоящей «творческой лаборатории» в Хлебном, не было, но было нечто, хоть и одетое, но стыдное, – выплывание из мрака: Таллин, запах сланцевой гари, жалкая светящаяся вывеска САФЕ, тебе двадцать четыре, ей – тридцать, белая жакетка и белый берет, жалкий лепет о национальной независимости...

Почему-то это показалось стыдным до мерзости под не улыбающимся рысьим взглядом старшего гэфэушника.

– Я вижу, вы бывали там, – сказал Огородников.

– Не раз, – ответил Планцин. – Ведь это же Латинский квартал, да?

– Правильно. Улица Мазарини, – с некоторым облегчением произнес Огородников: хотя и Париж в этот момент подернулся пленочкой позора, однако неузнанному Таллину стало все-таки чуть-чуть легче.

Старшой, человек лет под шестьдесят, с беспорядочно лысеющей головой, снял пиджак и вопросительно направил его к спинке стула. Разрешите? Душновато сегодня. Молодой специалист немедленно последовал примеру, под мышками обнаружили темные полукружия, пахло футбольной раздевалочкой. Старшой показал Огородникову открытые руки:

– Как видите, Максим Петрович, у нас ничего нет.

– Чего нет? – озадаченно спросил Огородников.

– Техники, Максим Петрович, – пояснил старшой. – Как видите, мы пришли к вам бэз... (слово «без» почему-то у генерала Планцина всегда получалось через э-оборотное)... бэз техники, Максим Петрович. Надеемся, что и вы с нами по-честному...

Огородникова тут слегка замутило от еще неясных, но мерзких чувств, и он, чтобы скрыть муть, потянулся к столу в поисках сигаретки. Володя Сканцин снова отличился – вытащил из кармана – на выбор – французский «Житан» и советский «Мальборо», угощайтесь.

Полная, значит, опять проявилась осведомленность – ведь Огород-то как раз по «Житану» выступал, посылки получал из Парижа от третьей жены Надин Шереметьефф, а когда с посылками случался перебой, сваливал на местный продукт детанта. Что-то не то, приуныл Володя, поймав недовольную гримасу генерала, опять, кажется, пенек нахватал, что-то не по делу выступаю...

– Я себя жуликом никогда не полагал. Что вы имеете в виду? – спросил Огородников.

Планцин отмахнул ладошкой – ерунда, мол, не стоит и разговаривать на эту тему, но рысьи глаза безулыбчиво смотрели прямо Максиму в лоб.

– Да я просто к тому, Максим Петрович, что мы нашу беседу не записываем. Надеемся, что и вы не записываете.

Пиджаки сняты, ладони протянуты, лица чисты, и в этот момент автору снова приходится отвлечься от повествования, чтобы посетовать на долю русского романиста, на невозможность обойти эти вездесущие «железы» при описании современной русской жизни, на невозможность даже придать представителям этих «желез» какие-то человеческие черты, ибо и в этот вот данный момент Планцин и Сканцин ввали – запись шла.

Между тем в животе Огородникова прошла холодящая мысль: да ведь эти гаврики меня, как видно, принимают *совсем* всерьез, вроде бы считают врагом на равных. Ой, мамочки-папочки, куда затягивают! Холодящая мысль бередила кишечник, лопнуло несколько пузырей, на поверхность вынеслось легкое ворчание. К счастью, увидел отражение в дальнем угловом зеркале и подумал, что угол выбран правильно и вся мизансцена с двумя сыщиками, прямо сидящими в жестковатых креслах, и с артистом, расслабленно утпающим в диване, работает в его пользу.

Бодрящим образом заработало и тщеславие. Они меня, должно быть, считают заправилкой «Нового фокуса», иначе бы не явились. Собственно говоря, так оно и есть, хотя идея и возникла в стоматологическом центре Тимирязевского района, в разговоре двух соседей по креслам, Олехи Охотникова и Венечки Пробкина; оба были оставлены врачами после уколов новокаина. Все-таки именно я и есть заправила, хотя бы потому, что без меня эта идея

не прожила бы и недели. Ну, собственно говоря, только со мной из всей нашей кодлы им и приходится считаться всерьез – с моим именем, с международными связями...

Он улыбнулся в духе только что продуманной мысли, которая из «холодящей» под давлением тщеславия быстренько превратилась в «бодрящую», и сказал:

– Я тоже вас не записываю.

Нужно ли пояснять, что Огородников-то не врал? Офицеры быстренько переглянулись, даже не переглянулись, а просто одновременно шевельнули какой-то соответствующей мышцей лица: раскладка оказалась правильной, перед нами серьезная птица – какой холодный и спокойный тон вместо предполагающегося в каждом совчеловеке перепуга и священного ужаса – как, дескать, могли подумать такое святотатство – записывать наши советские «железы»?..

Огородников же, призвав на помощь олимпийский сонм богов, приготовился к схватке. Я их сразу первым же встречным вопросом. А вы-то сами, господа, вернее, товарищи, когда-нибудь фотографировали? Вообще-то знаете, что это такое? Если уж вы за нами наблюдаете, то предполагается, что вы в курсе дела, так, что ли? Вроде бы знаете, с чем это едят и с чем это пьют, да? Стало быть, догадываетесь, что фотография – это не совсем то, чем занимаются советские классики Фарков, Фотаднюк, Фисаев? О'кей? Может быть, вообще проникаете в глубины, товарищи офицеры? Может быть, мы вас катастрофически недооцениваем? Все-таки позвольте усомниться в том, что ваша пытливость уходит к папаше Шульце с его светящейся субстанцией или еще глубже к истинным мудрецам – алхимикам, к великому колдуну Кристоферу Адольфу Болдуину, к его дымным ночам в поисках *Weitgeist*, ведь ваша идеология тогда еще не родилась, даже не подразумевалась, а мел, растворяясь в *aqua regia*, уже втягивал влагу из атмосферы и оставлял на дне реторты светящийся в темноте осадок. Ведь не будете же вы утверждать, что наши славные «железы» унаследовали архивы инквизиции, а если нет, то какого черта лезете в чужие дела?

– Ну что ж, – сказал старшой. – Начни, пожалуй, ты, Володя. Объясни Максиму Петровичу наше вторжение.

Планцин довольно драматично насупонился. Стало похоже на телепостановку по сценарию Юлиана Семенова.

– Темнить не буду, Максим Петрович, у нас *это* есть...

– Это? – Огородников несколько опешил от нажима на «это», артистическое высокомерие, не говоря уже о «предках-алхимиках», было забыто, и таким образом то, что он про себя именовал «схваткой», началось для него с афронта. – Это? Это? – запинался он. – У вас? Позвольте, не понимаю...

Генералу встреча начинала нравиться.

– Ну, поясни, Володя, что мы имеем в виду, а то Максим Петрович, возможно, и не о том думает.

Огородникову казалось, что рысый взгляд как бы контурирует его, малейшее смещение в плоскости и в объеме немедленно контурируется по какому-то неведомому фону. Он разозлился. Что за дурацкий понт? Каким образом «это» может быть у них, если «этого» пока вообще не существует?

– Мы говорим о вашем произведении, Максим Петрович, о «Щепках»...

Планцин даже улыбнулся, когда злокозненный артист выскочил от изумления из дивана. Попрыгай, попрыгай, полезно будет, а то уж слишком загениальничались. Сканцин в этот момент подумал: «Какие джинсы у Максим Петровича хорошие...»

– «Щепки»?! Вы сказали «Щепки»?

– Вот именно «Щепки», Максим Петрович, ваши собственные «Щепочки»... А вы о чем-то другом подумали? Может быть, еще что-нибудь нафотографировали... хм... противоречивое?

Огородников плюхнулся обратно в любимую диванную продавленность. Фантастика, их, оказывается, интересуют «Щепки», о которых он и думать забыл. Прошло уже года три, как он закончил этот альбом, открывавшийся эпиграфом из песни Алешковского «... а щепки во все стороны летят!». Альбомчик этот собирался годами, начиная еще с тех отдаленных времен, когда забубенными компаниями московские фотографы «новой волны» путешествовали на Дальний Восток в поисках «молодого героя». Так было весело в те времена, все вокруг свои, поколение «Звездного билета», принадлежность к авангарду определялась возрастом. Правда, с этой возрастной общностью уже тогда случился скандал. Однажды в Петропавловске-на-Камчатке явились на «Голубой огонек» под хорошим газом, да еще в карманах принесли пару бутылок «чечено-ингушского коньяку».

Те, кто пригласил столичных гостей, местные «ровесники» из обкома комсомола, рассчитывали на оживленную такую милостивую дискуссию о романтике, собирались прокламировать то, что было тогда в ходу, т. е. «серости – бой!», а получился безобразный скандал. Москвичи издевались над ударниками коммунистического труда, требовали от всех «теста на иронию», возмущенного полковника погранохраны называли «пнем», потом Слава Герман плюнул в телекамеру, а Андрей Древесный свалился со стула. На следующий день вся делегация была вымазана дегтем, вываляна в перьях и вынесена из города на шестах. Впрочем, за городом, в сопках, их тут же спасли другие, настоящие уже «ровесники», вулканологи с Ключевской, и далее «Голубой огонек» разгорелся над вулканом, как тогда говорили, по новой, по новой. Первый сейсмически опасный фотофестиваль, или как там это называлось...

Однако уже тогда, на фоне всех подобных фиест и фестивалей, в негативах стали просвечивать странные мраки. Карнавальная вереница кадров прерывалась вдруг засветкой – то ли провал в памяти, то ли, наоборот, момент пробуждения. Год за годом все собиралось – от Москвы до самых до окраин, до Колымы, до Печоры, Северного Казахстана, Норильска, Кольского полуострова, – и в конце концов возникла исторически вполне наивная фотоидея. По огромному пространству мира прошел сталинский лесоповал, перед нами земли, покрытые щепой, пробьется ли жизнь?

Разобравшись в конце концов, куда его тянет, Макс забросил кабаки и всех своих баб, выключился из выставок, как официальных, так и чердачных, года два только и делал, что бродил с «примитивкой» (так называл он свою любимую камеру), щелкал и колдовал в лаборатории. В конце концов отобралось чуть больше сотни снимков, и все как-то легко, в такой страннейшей композиции, что вызвало при первом же проглядывании некоторый морозец по коже.

Во всей коллекции, над всей щепой, доминировали два лица: сталинского какого-то ублюдка, вневозрастной и внеполовой сволочи, и послесталинского недоразвитого хмыря с вечно приоткрытым вследствие аденоидов ртом, задроченного «вечного юноши». Первый с весомостью члена Политбюро наблюдал за шахматной игрой пенсионеров на Тверском бульваре. Второй, в отчаянии и пьяный, объяснял что-то двум дружинникам и милиционеру на углу Литейного и Невского проспектов. Ни того ни другого Макс не знал и никогда после снимков их не встречал, однако лица эти как бы в единоборстве присутствовали повсюду, то есть были там, где их не было, включая и чистейшие внеполитические сюжеты, пейзажи и натюрморты. «Беглец», например, угадывался в крутом повороте какой-то городской реки с пустынной набережной и маленьким каменным лионом в глубине кадра. «Охрана», например, наплывала, словно газовое облако, из малоотчетливого рисунка отвисших обоев над натюрмортом вполне отвлеченного характера – тарелка хороших щей, бутылка французского коньяку, «рушничок» на спинке венского стула, штопор – «спутник агитатора».

Закончив альбом, Огородников, разумеется, походил немного в гениях. Во-первых, друзья, что видели «Щепки» – числом не более дюжины, – говорили: «Макс, ты гигант», а во-вторых, сам себя очень заужавал – какова персона, усы, очки, висловатый нос, а между

тем – гений! Так, по сути дела, было всегда, после каждой новой коллекции, после всех предыдущих «сомнительных», так и сейчас случилось после первой по-настоящему «опасной». Впрочем, сейчас он ликовал дольше – опасность, как оказалось, прибавляет гениальности. Однако прошла пара-другая месяцев, и радость без всяких причин потускнела, и, как обычно, гениальности малость поубавилось – точнее, она приблизилась к своему обычному уровню. Все же надо было «забросить штучку за бугор», и это оказалось делом не особенно сложным.

– Нас, конечно, прежде всего, Максим Петрович, интересует, каким образом ваша работа попала за рубеж? – Рысьи глазки продолжали калькировать Огородникова, показывая, что не поверят ни одному его слову, но все же не упуская и возможности неожиданного «раскола» с истечением мочи и слюны.

– За рубеж? Вот это новость! – Огородников на такие вопросы отвечал почти автоматически, потому что за последние три года немало его картинок выскакивало как бы случайно то в альбомах, то на выставках «за бугром», и в Союзе фотографов «козлы» из аппарата время от времени интересовались: как? за рубеж? Кроме служебного рвения в таких вопросах чувствовалось и искреннее удивление, как будто почтового сообщения просто не существовало. – А вот меня, товарищи, интересует другое, – продолжил он.

Тут он заметил новый мгновенный перевзгляд-перемиг гэфэушников, в перемиге на сей раз было что-то положительное, не исключено, что родимые «товарищи» так подействовали: все-таки употребляет же наших родимых «товарищей», а не «сударей» каких-нибудь, не «господ», может быть, и не до конца еще потерянный человек.

– «Щепки» – штука внутренняя, сделанная для друзей, а вот как она к вам-то попала, товарищи?

Только не подозревайте ваших друзей, Максим Петрович, – сказал Володя Сканцин и опять как-то кашлянул в стиле Юлиана Семенова, показывая, что уж что-то, а законы мужской дружбы «рыцарям революции» ведомы. – В вашей компании, Максим Петрович, немало ведь и стукачей вращается, – брезгливость вздула некоторый пузырь на молодом лице, – если бы вы знали, сколько стукачей!

«А вот сейчас хорошо Володька работает», – подумал Планцин и улыбнулся.

– Уж если вы, Максим Петрович, недоумеваете, как за границу ваше произведение попало, позвольте уж и нам руками развести...

Он прав, подумал Огородников, давайте вместе недоумевать, товарищи. Неужели тот ярко-оранжевый «Фольксваген» остался вами незамеченным? Мимо шли бесконечной чередой демоны грязи, московские пустые грузовики, была в расцвете дурная московская весна, он протянул свою папку в окошко «Фольксвагена», и тот сразу с тархтением отшвартовался, оставив его стоять поистине в недоумении – неужели вот таким образом «Щепки» в конце концов доедут до арт-агента нью-йоркского Шлемы и упокоятся в его сейфе?

Однако прежде всего надо было спросить их, а лучше самого себя – отчего такой пожар? Являться в генеральском составе по «Щепкину» душу? Ведь в самом деле не собирався публиковать, не решил, несмотря на внушительные суммы, предлагавшиеся из-за моря, а снимки-то в ящиках есть пострашнее и у Славки Германа, и у Шуза, да у кого их сейчас нет. Может быть, просто на понт берут дорогие товарищи? Может быть, все же к «Изюму» подбираются, к «Новому фокусу»? Трудно все же предположить, что для них мой альбом пострашнее «коллективки». Во все века советской власти «коллективка» считалась самой большой крамолой и опасностью. Впрочем, что там гадать, да и хитрить с ними бессмысленно. Мне скрывать нечего, это им есть что скрывать, это они тайная шобла, а не мы.

– Ну и что же? – не без высокомерия, вроде как бы польский шляхтич, поинтересовался. – Стало быть, считаете мой альбом «антисоветским»?

Молодой Сканщин опять с некоторой досадой поморщился, опять, дескать, не поняты благие намерения. Старый Планщин тоже чуть скособочился в этом направлении, однако не без некоторого напоминания о «лучших временах».

– Это вы уж нас несколько примитивизируете. Кто же не увидит в «Щепках» трагического разлома времен, отразившегося в творчестве противоречивого художника.

– Ого, – сказал Ого (так, между прочим, в прошлые времена дразнили его в школе). – Ого! Поздравляю! Звучит прямо как рецензия в «Иностранном фотоискусстве».

Генерал озлился. Он все же чина моего не знает, этот гад, явный гад. Надо ему все-таки дать понять, с кем разговаривает.

– В общем, чтобы было короче, Максим Петрович, мы публикации вашего альбома на Западе не допустим, в том смысле, что здесь, на родине, вам в западных гениях ходить не придется.

– Нельзя ли попонятней? – спросил Огородников.

– Можно. Если «Щепки» появятся на Западе, у вас будет только две альтернативы...

– Как это понять? – пробормотал Огородников.

– Или покаяться, публично отказаться от этой работы...

– Чего вы, конечно, не сделаете, – вставил Вова Сканщин.

«Ну, почему же?» – подумал Огородников.

– Либо хлопать дверью, – продолжил генерал.

– То есть? – спросил Огородников.

– То есть прощаться. Отправляться туда, где издаетесь, присоединяться к Эрнсту Неизвестному, Конскому, словом, к тем, кто на родине оказался чужим. Откровенно говоря, нам бы не хотелось, чтобы советское искусство теряло такого профессионала...

Володя Сканщин снова вмешался как бы плачущим голосом:

– Вас ведь и у нас любят, Максим Петрович. Все слои общества, собственно говоря, вас ценят. Ведь вы у нас тут как бы символ всего передового...

– Что вы имеете в виду? – На этот раз Огородников был в серьезном замешательстве.

– Ну все ж таки, – как бы даже заныл молодой капитан, – ведь все ж таки оптимист же вы ж... ведь не скажешь же, что пессимист же ж...

– Что касается меня, – очень сухо, явно работая на контрасте с Володией, сказал старый генерал, – то лично для меня основное значение играют...

«Значение не играют», – уныло подумал Огородников.

– Основную роль играют, – поправился генерал, – ваши корни. Славное революционное имя вашего отца, настоящие русские пролетарские традиции.

Упоминание «корней» всегда злило Огородникова, сейчас взбесило. Выброшенный опять из продавленности, он метнулся в неопределенном направлении, длинные руки и ноги под внимательнейшими взглядами чекистов будто бы произвели большое колесо. Пузыри негодования теперь вылетали изо рта, напоминая даже нечто сродни орлиному клекоту, образуя в то же время некоторую спасительную бессвязность, затемняющую картину полной уже антисоветчины, белогвардейщины, которую он тут понес.

– Корни?! Прорастание в тридцать седьмое тридцать семь раз проклятое поле?! Прерываю цепь хамских возражений! Увольте, к подземной гнили никакого отношения! Гидропонический продукт! По трубкам фотографии соединяюсь с цивилизацией! Руки прочь! Мы от Туринской плащаницы, а не от языческой гнили. Постоянно навязывается пошлятина идей, мразь борьбы! Для меня «Щепки» – метафизика, метафотография, для вас в лучшем случае – какой-то трагический разлом времен, а по-настоящему – акция, передвижная фишка в вашей сраной идеологической борьбе. Чего пугаете? Я об этих «Щепках» и думать забыл, особенно с гидропонических событий, а тут берут на понт, тычут в нос большевицкое корневище...

Таково приблизительно было содержание огородниковского клетота или бульканья, если его очистить от междометий, включающих, увы, блямающий звук «бля», а также от разных внеграмматических звуков. Высказавшись, он подумал: «Ох, много лишнего наговорил», посмотрел в зеркало на офицеров и вдруг увидел на лицах непрошенных гостей некоторого рода просветление, спуск отходов производства.

– Можно ли это так понять, Максим Петрович, что вы не собираетесь печатать «Щепки» на Западе? – спросил Планщин.

– Да и не собирался никогда, – буркнул Огородников.

Вру или не вру? – подумал Огородников. Самому непонятно. Врет или не врёт? – прикинул Планщин. Не очень-то было понятно. Чего это он про гидропонику загибал? – озадачен был Сканщин. Непонятно, но здорово. Надо будет по словарям ползаться.

В этот, можно сказать, ответственный момент беседы в передней возникли посторонние звуки – поворот ключа в замке и постукивание каблуков. Появилась Виктория Гурьевна, вторая бывшая жена Огородникова, которая помогала ему по хозяйству.

– Викочка, познакомься, – устало сказал он. – Товарищи из ГЭФЭУ.

Оба шевалье тут же привстали и познакомились путем рукопожатия. Володя всем внешним видом показал, что впечатлен. Валерьян Кузьмич бросил на хозяина слегка укоризненный взгляд – зачем же, дескать, так все раскрывать государственные секреты? С другой стороны, однако, он как бы даже и доволен – вот, как ни странно, появилось у Огорода простое человеческое отношение к их нелегкой профессии – взял и представил второй бывшей жене Виктории Гурьевне Казаченковой, 1937 г. р., проживающей по адресу...

Последняя оказалась в этой сцене совсем на полной высоте.

– Я вам сейчас кофейку приготовлю, мальчики, – глубоко женским голосом проговорила она и, топя кавалерийскими сапогами, запросто отправилась на кухню.

Мальчики! От такой простоты даже бывалый чекист малость сбюку оплыл в некотором умилении, молодой же специалист выразил хорошие эмоции сильным хлопком по колену – эхма!

«Гребена платье», – впадая в острейшее уныние, подумал Огородников.

Последняя экспрессия кажется нам уместной для того, чтобы именно здесь напомнить читателю, что в основном пласте повествования Макс Огородников все еще едет в такси по направлению к центру Москвы и в данный момент машина стоит в ожидании стрелки для поворота с Ленинградского проспекта на площадь Белорусского вокзала.

С повествовательным жанром, господа, происходят сплошь и рядом неподвластные литературной теории метаморфозы. Связно и в хронологической последовательности изложенные воспоминания героя по ходу его передвижения в городском такси, по сути дела, чистейшая условность, т. е. литературный формализм. Клочковатый же, разорванный поток памяти и сознания, т. е. хрестоматийная примета формализма, гораздо ближе все же к реальности, ну, согласитесь же. Мы, однако, здесь используем более заезженного коня, жертвуем джигитовкой, до которой горазды, ради интересов читателя, ибо в этой повести и сюжет важен, не только словесные струи.

Так или иначе, но именно в ожидании стрелки для поворота вокруг памятника Горькому Макс Огородников вспомнил, как Вика, стуча кавалерийскими сапогами, пошла на кухню варить им кофе.

– Гребена платье, – вздохнул тогда Макс.

«Он прав», – подумал таксист.

Стрелка загорелась. Поехали дальше.

– Важнейшее решение вы сейчас принимаете, Максим Петрович, – говорил Планцин. – Отказ от публикации «Щепок», безусловно, будет означать, что вы остаетесь в рядах сов... – Тут произошла вдруг некоторая заминка, словно генералу вдруг почему-то не захотелось произнести любимое слово. – ...Ну, словом, в рядах отечественного искусства.

– Да я решений не принимал, просто и не собирался...

– Понимаю-понимаю. Словом, если по-джентльменски заключаем договор, если все будет о'кей, как сказал старик Мокей (пауза для веселой реакции на шутку, легчайшее продление паузы в расчете хотя бы на улыбку – все без толку, не прошибешь, с чувством юмора у нас всегда хромало), в общем, от нашей организации хлопот у вас тоже не будет. Все ваши публикации будут в порядке, и заграничные поездки состоятся. Итак, лады?

– Ну, если угодно, лады.

Только уж как бы без рукопожатий, подумал Макс. Что ж, хватает все-таки такта не лезть с ладошкой. Все же можно найти в манерах даже что-то мужское – так говорят, как будто не соврут...

Что-то, кажется, появилось человеческое в этом хлыще, подумал Планцин. А вдруг и в самом деле удастся договориться?...

– Ну вот и кофе, мальчики!

Вкатившая столик с кофею Виктория Гурьевна застала в кабинете просветлевшую погоду, даже подобие улыбок, а мужские улыбки эту влиятельную театральную даму Москвы всегда грели, ибо воспитана она была на идеях Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Если бы парни всей земли!..

В. Сканцин с неммым вопросом обратился к В.К. Планцину, и тот кивнул. Из Володино портфеля миглом вынырнула тут нераспечатанная британская льдинка – джин Beefeater. Расчет опять оказался правильным – Огород пошел встречным курсом, вытащил из загашника бутылку «Армении». Совсем недурная получилась концовка матча.

– Со свиданьем, – вполне искренне произнес Вова и, хапнув рюмаха, улыбнулся своему клиенту, с которым, сказать по правде, успел уже сжиться. – Да вы не огорчайтесь, Максим Петрович...

– Да я и не огорчаюсь, – пожал плечами клиент.

– Однако ведь художник всегда хочет...

– Хочет, – по-деловому поправила Виктория Гурьевна.

– Спасибо, – поблагодарил Володя. – Всегда же хочет свое детище показать интеллигенции. Или я не прав?

– Максим Петрович немножко нашу интеллигенцию переоценивает, – сказал генерал. – Эти-то с университетскими значочками – интеллигенция? Думаете, они аплодировать вам будут за «Щепки»? Нет, Максим Петрович, не поймет вас интеллигенция, растерзает. Конечно, альбом ваш – выдающееся произведение искусства...

«...отнести ли это за счет джина с коньяком?..»

– ...и давайте, товарищи, не будем его окончательно хоронить. Будем ждать!

– Чего ждать? – вздрогнул Огородников.

– Как чего? – вздрогнул Планцин. – Ждать, когда созреет наша интеллигенция.

– О чем речь? – спросила тут Виктория Гурьевна.

– О фотоискусстве, – пояснил ей вполголоса Володя.

– Ага, – дама слегка отпала.

– Вот, говоря о фотоискусстве, – Планцин, как бы сдувая пылинку, легчайше притронулся к мосластому колену, – как вы, Максим Петрович, оценили бы современное его у нас положение?

Макса вдруг словно острейшая тошнота поразила, такой пошлятиной вдруг вывернулась вся ситуация. В собственном доме пью с сыщиками; хитрю ли (?), трушу (?), дерзко

ли блефую? Да неужели же никогда нам из-под них не выкарабкаться? Никогда? Под ними всегда? Под хеврой?

– Какое еще там искусство, – грубо сказал он. – О каком еще искусстве вы можете говорить? Какое может быть искусство, если им занимается тайная полиция?

Он встал и отошел к окну, давая понять, что время истекло. Не слишком ли спедалировал, спросил он тут же себя. Впрочем, их ведь еще паханок учил, что с талантом надо обращаться осторожно, как с красивой и глупой блядью.

Планщин сделал Володе знак – сворачиваться. Успех сегодня достигнут большой, диалог начался, дальше пока развивать не стоит, а то еще сорвется сом с крючка.

– Уж тоже вы скажете, Максим Петрович, – полиция... Где же вы тайную-то полицию увидели... ну ладно, спасибо за гостеприимство, как говорится, этому дому, пойдем к другому...

– Максик, пока! – точным приложением ладошки снимая зевок, сказала Виктория Гурьевна.

– Ой, Виктория Гурьевна, вы, должно быть, всех театральных знаменитостей знаете? – спросил ее по пути к лифту восторженно посапывающий Володя.

– Ну, как вам сказать, – Виктория Гурьевна начала тут что-то утробно напевать. Вся жизнь дамы прошла, как в Москве говорят, «на театре», последние пять-шесть лет вообще на высокой позиции в Центральной театральной кассе. Она, конечно, переспала со множеством знаменитостей и при упоминании какого-нибудь имени обычно начинала что-то с хорошим юмором утробно напевать. – Как вам сказать? Всех ли? Всех ли?

– Товстоногова, Михаила Шатрова? – заглядывал ей в лицо молодой человек.

– Над Россию-ю-ю небо синее-уу-уу...

Выйдя за «молодежью», Планщин уже возле лифта подумал, что слишком простенько все как-то получилось, как-то слегка не на уровне, что-то все-таки необходимо добавить к картине дня...

Лифт пошел вниз без него, а он вернулся к огородниковской двери. Она была еще не заперта. Генерал проник внутрь и увидел длинную спину с выпирающими лопатками. Запустив обе руки в разваливающиеся патлы, Огородников стоял у стены в прихожей и как бы подвывал; слышалось что-то вроде «па-а-адлы-ы-ы».

Генерал тоже прислонился к стене, только к противоположной, вынул портсигар, постучал папироской по крышке. Он видел свое отражение в каком-то зеркале в глубине квартиры и понимал, что Огородников заметил его возвращение, хотя и не поворачивается.

– Не мог уйти, не сообщив вам одну малоприятную штуку, Максим Петрович... коллеги наши... ну, за океаном... внимательно вами занимаются... разрабатывают вас... после крушения диссидентов там решили намывать новый слой оппозиции внутри нашего общества... из писателей и фотографов, работающих на грани лояльности...

– Бре-е-ед, – промычал Огородников, как бы вытаскивая голову из-под бормашины. – Кому я там нужен?

Генерал Планщин наблюдал за ним с отеческой симпатией. Немало он видел на своем веку подозрительных, но этот один из лучших.

– Как-то вы себя принижаете, Максим Петрович. За такого большого художника стоит побороться. Вот скажите, встречался ли вам в ваших странствиях некий такой Клифорд Зусси?

– Встречался, – сказал Огородников, хотя, конечно, никогда не встречал человека с кошачьей фамилией Зусси.

– А Веронику Фрондаик знаете? – сощурился Планщин.

– Знаю, – сказал Огородников, хотя никогда ничего ближе Анели Торндайк, лауреата Ленинской премии имени Хрущева, к этому звукосочетанию даже и не слышал.

– А Грибовича Михаила Марковича?

– Наверняка встречал.

Макс оторвался наконец от стены, повернулся и как бы слегка навис над генералом.

– Прикажете понимать как вопрос?

– Да что вы, Максим Петрович! – Генерал широко развел руками, словно «трехрядку» растягивал. – О вашей же безопасности заботимся, вернее, о вашей репутации. Старайтесь, Максим Петрович, держаться все же в стороне от этой публики, что бы она ни сулила... Это просто мой вам *личный* совет... Ну, вот и все, Максим Петрович, вроде бы все, ах нет, простите, вот еще... Личико-то там у вас в «Щепочках» запечатлено очень знакомое. Сталинский-то персонаж. Между прочим, этот человек жив и по-прежнему работает у... у нас...

– Это не вы? – Огородникову показалось, что у него кожу свело на лице от напряжения.

– Нет, это не я, – глухо и мрачно сказал генерал, весь будто налился чугуном, охотно показывая свое настоящее чувство к фотохудожнику.

На этом они наконец расстались. Оба испытывали странное удовлетворение, ибо мрак и сдержанное рычание все же показали им обоим более естественными метеоусловиями для «концовки матча». Генерал отправился анализировать воровские пленки, а Огородников с бутылкой в кармане помчался к корешу Шузу Жеребятникову и, между стаканами, все ему выложил с деталями и в лицах.

– Шиздец, – сказал могучий, блатной и хиповый мужик Жеребятников, главное лицо «Нового фокуса», гордившийся тем, что у него, в отличие от остальных интеллигентиков-«фокусников», был настоящий лагерный стаж – отбухал пятак уже после Сталина за попытку срыва выборов в Верховный Совет Молдавской ССР. – Шиздец, Огороша, запахло «фишкой», все окна открывай, не избеишься. Это как раз не коллеги заокеанские, а сама «фишка» взяла тебя в разработку, «коллегами» на понт берет, пужает – дескать, можем и шпионаж вжучить. Теперь, плять буду, они с тебя зенки не спустят ни на минуту и дронить тебя будут повсеместно, а джентльменство ихнее сухой шандавошки не стоит.

В подвале у Жеребятникова, где шел этот разговор, у Макса отказали тормоза: и руки пошли ходуном, и кожа покрылась адреналиновой слизью. Куда, куда меня затягивает? Где моя фототехника, где мои женщины, была ведь когда-то жизнь чиста и немногословна.

Шуз, кажется, понял, что происходит с Максом, хотя обычно мало обращал внимания на окружающих, залепил ему леща под лопатку и одобрил любимым словечком «небздимо».

– Вспомни триаду классика, гребена платье: «Не верь, не бойся, не проси!» Это ко всей «гэбухе» относится, включая и нашу «фишку».

Невероятной ширины мужлан с седыми кудрями до плеч, на шее переплетение золотых цепочек, на правом кулаке пара массивных перстней с печатками, впору челюсти ломать такими перстнями; что за человек такой, всю жизнь не верит, не боится, не просит... Огородников ободрился – буду и я таким.

– Одного я только не секу, – сказал Шуз. – Почему они про «Изюм» ничего не спросили? Не может быть, чтобы уже не пронюхали. Ладно, небздимо, Огороша!

Они отправились в «Росфото», сильно пили весь вечер и под конец увели, конечно, девушек. Хотелось, чтобы все было как всегда, но все было уже по-другому, и даже с девушками в ту ночь спалось как-то плохо, мешала, конечно же, дурная мысль – а вдруг стукачки?

Какие все-таки падлы, какие крысы, как они прогрызают все это общество, как они растлевают всех и каждого... шестьдесят лет... деструкция такого масштаба... – думал Огородников.

Москва за грязными стеклами такси текла мутной массой. Возле Дома кино мелькнуло скопление лиц.

«Он прав, – думал шофер. – Этот кадр абсолютно прав. Хорошего кадра везу, это факт...»

## VI

После весеннего визита прошло уже полгода, и за это время все отличным образом проверилось. Шуз оказался прав – «фишкино» джентльменство тянуло как раз на названную им цену. Прежде всего они наглухо заблокировали все огородниковские выезды – одна за другой рухнули поездки в Нью-Йорк (по линии СФ СССР), в Милан (по линии Госкино СССР), в Париж (по линии ОВИРа, просто детишек повидать от третьей бывшей жены Надин Шереметьефф), то есть по всем линиям. Объяснения всякий раз давались нелепейшие, или совсем никаких не давалось.

«Признано нецелесообразным», да и все тут. «Фишка» как будто не только не скрывала, но как бы даже демонстрировала свой почерк, а то и мордашку свою высовывала, сморщенную в зловещем лукавстве.

Как-то махнул Огородников к своей нынешней законной супруге, гляциологу Анастасии, в университетский поселок под Эльбрусом. Всю ночь воспаряли, ликовали на высокогорный лад, а утром глянули из окна и сразу увидели пару нелепейших идиотов в одинаковых шляпенках. Они прохаживались по дощатому тротуару и посматривали на их окна с похабными улыбочками.

В другой раз как-то отправился Огородников в Шереметьевский аэропорт встречать заокеанскую знаменитость Александра Спендера с женой и дочкой. Вдруг, бац, какая неожиданность, в зале ожидания скромный рыцарь революции Вова Сканцин за чашечкой кофе. Присаживайтесь, Максим Петрович. Вот, в самом деле, как бывает: зайдешь кофейку принять и хорошего человека встретишь. Улетаете куда-нибудь за рубеж? Кисленькое молочко в глазах куратора то и дело сменялось хулиганской прохладцей. Спендера встречаете Александра? Хорошее дело. А что же этот мистер Спендер-то не из наших ли коллег будет, а, Максим Петрович?

У Огородникова даже челюсть затряслась в отвратительном чувстве. Как же это вы, Владимир, фотографией ведь все-таки занимаетесь и не знаете Александра Спендера?

К чести капитана Сканцина надо сказать – никогда не обижался он на критику невежества. Краснел, конечно, но делал соответствующие выводы. Спасибо, Максим Петрович, за критику, в дальнейшем учту.

Огородникову ясно стало, что только ради вопроса о «коллегах» и прикатил в аэропорт Сканцин. Шуз прав – разработка продолжается. Щупают, дают, шьют...

Однажды, в творческом блуждании с камерой, под Троицу, под московскими дождями он познакомился с милейшей задумчивой девушкой, ну прямо из французского кино. В постели она оказалась совсем чудесной: едва о чем-нибудь подумаешь, тут же это тебе предоставляется. Не был бы женат, женился бы, подумал Макс по своему обыкновению, засыпая. Проснувшись, девушки рядом не обнаружил, исчезла, как Золушка, экая прелесть, такой такт, как будто знала наперед, что у меня с утра настроение говенное. Вдруг услышал внизу под антресолями шорох и шепот. Подкатился к краю, посмотрел из-за перил. Девушка, пальто внакидку, листала тайные его альбомы и что-то нашептывала в телефон. Ах! Увидев свисающие меж перил усы и космы, пенсне на ниточке, ахнула в театральном ужасе. Застучали по лестнице каблуки. В окне за палисадом ждала ее серая «Волга», молодчик в блейзере за рулем, если не Сканцин, то его молочный брат. Шпионочка подбежала, оглянулась на окно, хохотнула дерзостно и нырнула на заднее сиденье. Еще один ход конем. Bravo, товарищ генерал!

В почтовом ящике однажды обнаружился занюханый конвертик с рисунком ко Дню артиллерии – булыжное рыло воина и хвостатая сука – ракета. Внутри текстик на машинке: «Жидовский подголосок Огородников! Имеешь ли ты право называться русским фотогра-

фом, обдывая свои грязные делишки с Фишером, Цукером, Златковским, Серебровским, Германом? Прекрати свою позорную стачку с жидами, иначе Родина покарает ублюдка!

Русские патриоты».

Огородников сначала лишь задыхался от ярости и ничего не соображал. Потом стал накручивать телефон, всей Москве зачитывал текст анонима, орал, что сейчас же – в «Нью-Йорк таймс» и в агентство Рейтер, пусть все знают, как шантажируют, пусть записывают каждое слово, скрывать нечего, ненавижу эту падлу, вонючую Степаниду, моя Россия другая, она – не советская! Макс, Макс, увещевали его, да что ты так распсиховался, да таких писем сейчас полно, да брось ты его в сортир...

Вдруг резкий раздался в паузе характерный звоночек. В голосе генерала Планщина звучала металлическая ниточка сильной и верной дружбы:

– Можете быть уверены, Максим Петрович, авторы провокации будут найдены и понесут наказание.

Сбоку на линии подрабатывал Сканщин голосом обиженного теленка:

– Да я эту шпану из-под земли достану, Максим Петрович! Куски говна, позорят нашу интернациональную идею...

Огородников тогда спросил неприятнейшим голосом:

– А что имели в виду авторы провокации, вы не можете мне объяснить? Может быть, «Новый фокус»? Может быть, наш коллективный альбом «Скажи изюм!»? Как прикажете толковать «жидовскую стачку»?

В телефоне возникла и расширилась неопределенная пауза. Потом забормотал Сканщин: что-то я вас не особенно... о чем это вы... Новая пауза. Планщин: в таком тоне как-то трудно с вами разговаривать, Максим Петрович. Отбой. Неназываемое было названо.

«Неназываемое», так сказать, то есть вот именно названный в том телефонном разговоре злокозненный альбомчик, за прошедшие шесть месяцев сильно продвинулся вперед и превратился уже в альбомище. Изготовлено было двенадцать копий размером с хорошую кладбищенскую плиту, и оформлено все было в соответствии с культивируемой Олехой Охотниковым «эстетикой бедности», то есть с завязками из ботиночных шнурков, с обложкой из рогажи, в общем красиво.

Двенадцать и не больше, господа, объяснял участникам альбома самый опытный их друг Григорий Автандилович Чавчавадзе. Советская конституция, господа, легкомысленно закрепляет у нас на территории свободу печати, однако, вообразите, какое бы вышло свинство, если бы граждане следовали своей легкомысленной конституции. Граждане, однако, знают, что изготовление текстов или фотоальбомов числом более дюжины карается как нелегальная акция сродни самогонварению. В Прокуратуре СССР именно такая существует для внутреннего пользования инструкция.

Собравшиеся поплодировали. А нам больше и не надо, чем двенадцать. Первое советское неподцензурное фотоиздание тиражом двенадцать экземпляров. Хотят этого или не хотят, а все равно будет вежа в истории. Так мы им и скажем с голубыми глазами – вот наше первое издание, хотите, издайте в типографии, не хотите – перебежесь.

Шуз Жеребятников тут «вставлял в ствол», по его выражению. Не исключая, пацаны, что козлы наши примут «Изюм» к изданию. А что им остается делать, если не принять и не попытаться замусолить? Почему «фишка» только ходит за нами и нюхает? Почему не обратали нас с самого начала и весь наш тираж не разжучили? Очень феровая для них ситуёвина сложилась с «Новым фокусом». Конечно, меня замести им ничего не стоит, как и Цукера, как и Васюшку, даже и Веньку с Охотой заметут недорого возьмут, а вот на Огороде обжечься можно, а Древесо как взять, а Эмму, а Георгия Автандиловича, прости, кацо, с его иконостасом боевых наград? Шухер-то начнется же невероятный. По ходу дискуссий все общество, разумеется, «злоупотребляло» спиртные напитки и с каждой бутылкой все дальше

отходило от тактических соображений, все ближе подходило, как говорил Олеха Охотников, к «нутрянному скотству».

– Что же нам, господа, с «фишкой», что ли, противоборствовать? – спрашивали они друг друга. – Низменная идея, не так ли? Это пусть литераторы со своей «лишкой» противоборствуют, потому что они все выдумывают, искажают нашу прекрасную действительность, а от них хотят, чтобы они поменьше или побольше выдумывали. А ведь мы, господа, ничего не выдумываем, правда? Наше дело – чикать, не так ли? Увидел какую-либо натуру, достойную быть увиденной, увидел на ней определенный свет, соответственные тени, говоришь натуре: «Внимание, сейчас вылетит птичка, скажи изюм», и – чик! Ведь если «фишка» хочет или хотит – как правильно? – чтобы фотография изменилась в их пользу, им надо просто натуру изменить в свою пользу, вот и все. Ну, а наши интимные отношения с эмульсией – это, в самом деле, никого не касается... Пусть лучше за своими фотоклассиками следят, которые постоянно большими пальцами в проявителе дрочат для сочетания реализма с романтикой, то есть для засирания природы...

Все идеи в «охотниковщине», то есть в незаконно занимаемой жилплощади кооператива «Советский кадр», высказывались громогласно, подчеркнуто с пренебрежением к слушателям «фишки», за исключением одной – заброски «Изюма» за бугор. Слабо надеясь на благоразумие «козлов», все имели в виду основную альтернативу – издание альбома в Париже, Милане, Нью-Йорке. Не говорилось, но подразумевалось, что Ого все устроит. Кому же еще, как ни Максус с его связями за занавеской, с его языками. И в самом деле, Огородников худо-бедно мог объясняться на всех основных европейских языках. Сподвижник Ильича по цюрихским кондитерским, его папаша, обучал своих наследников языкам в расчете на продвижение мировой революции. С Октябрем расчет явно оправдался, а вот с Максимкой, увы, нарушился поступательный ход истории, можно было бы его знаниям найти лучшее применение. На этом рассуждении и в умиленной тревоге за чехословацких товарищей Огородников-старший отбыл в отсутствующий мир иной, не дожидая ни до очередной славной страницы в истории своей партии, ни до позорной страницы в жизни своего младшего сына.

А позорная страница уже разворачивалась в полную ширину. С привычным унынием чуть ли не каждое утро Максим смотрел из окна на серую «Волгу» и двух хмырей в ней, как бы читающих газеты. В этот вечер, подъезжая к Арбатской площади, он подумал, что, по сути дела, впервые за долгое время остался без хвоста. Его вдруг охватила какая-то неадекватная дикая радость, как будто в Москве отсутствие хвоста открывает перед человеком большие приключенческие возможности.

– Останови возле «Праги», друг, – попросил он шофера и, выходя уже из машины, подмигнул сумрачному парню. – Вот такие дела, друг.

– Согласен на сто процентов, – сказал шофер. – Гнать надо поганой метлой всю эту лавочку.

Итак, поездка нашего героя на такси, начавшаяся возле Речного вокзала и потребовавшаяся для того, чтобы информировать читателя о предшествовавших событиях, а также для того, чтобы убежать от соглядатаев, заканчивается на Арбате, возле ресторана «Прага», ибо больше она нам не нужна ни для той, ни для другой цели.

Можно было бы, конечно, перестать огород городить, махнуть рукой на всю эту фотографическую историю, последовать, в порядке экзистенциалистского эксперимента, подчиняясь одной лишь логике – логике хаоса, вслед за таксистом в его озлобленный против власти таксопарк, увы, профессионализм нас туда не пускает, напоминает о необходимости и дальше плести сюжет, имея перед собой основную задачу при писании авантюрных романов – начать и кончить.

Признаться, в эмигрантском отъединении от родного языка недурно было бы вспомнить ключевую фразу прежней жизни – «Всего делов-то начать и кончить!».

## Дружба

### I

Итак, Огородников оказался в суетливой толпе возле «Праги». Из всех дверей образцовой столовой Нарпита, столь щедро описанной двумя одесситами, валил пар, туда вбежало все больше народу: был щедрый вечер, внутри что-то давали. Максим Петрович в возрасте своих превосходных сорока двух стоял на углу и наслаждался незаметностью. Никто не обращал внимания – какое благо! За спиной у него в нише помещалась огромная чугунная ваза эпохи позднего сталинизма. Ее присутствие на Арбатской площади и в юности грело душу – казалось, что в случае чего (чего? чего?) можно в этой вазе отсидеться, перекурить – да вот и сейчас уже в своих превосходных сорока двух он не без удовольствия ощущал за спиной чугунное убежище.

Кое-где над площадью висели фонари, под ними виден был моросняк, а когда глаза привыкли, различились на противоположной стороне зубчатые башни бывшего дворца мецената Мамонтова, нынешнего Дома дружбы с народами зарубежных стран, внутри которого размещалось соответствующее учреждение, осуществляющее дружбу нашего внутреннего народа с народами внешними, Комитет обществ дружбы. Огородников некоторое время смотрел на башенки, не мог отвести взгляда. В бессмысленном пейзаже вдруг возникло ощущение какой-то смутной идеи. Берлин! – вдруг возопил он и далее, не рассуждая, ринулся в подземный переход, расталкивая «сограждан усталых», проскочил под площадью, вынырнул, рванул резные двери и оказался внутри дворца. Снимая плащ в гардеробной, перевел дыхание. Берлин, шептали по Москве три брата, Берлин, Берлин, Западный Берлин...

Год или около тому назад ему повстречался старый друг по бильярдной Никита Буренин, консультант по дружбе с населением обеих Германий и Западного Берлина. Паааслушай, Макс, хочччешь, я ттебя в ппплан на ггод вппперед всставлю? Каккая-то разшиздяйская конференция какккой-то загребистой ассоциации пппролетарского исссскуства имени Эрнста Ттттельмана ссссовместно ссс молодыми социал-ххххристианами ззза Европппу безззз грраницц... Хочешь в Западный Берлин, короче, пппрокатиться?

Вялый и длинный, вечно такой вельветовый, коричневатый, Никита был в тот вечер до похабнейшей уже степени расслаблен и заикался сильно сверх своей меры, стало быть, перебрал уже за пол-литра. Огородников, конечно же, спешил, согласился, тут же забыл и вот только лишь сегодня вдруг – словно рожок где-то протрубил – вспомнил, и его вдруг осенило – а вдруг?

Ангелы меценатства давно уже отлетели от мамонтовского дворца, в нем воцарился с претензией на вечное проживание смутно ухмыляющийся демон дружбы. Из-под дверей в деловом коридорчике трещали пишмашинки, бубнили телефонные голоса.

Паспортистка выездного отдела Людмила Терентьевна сидела спиной к двери, ну и, как обычно, проворачивала что-то свое важное по телефону.

– ...погоди, Валентина, ты же вчера говорила о сиреневой, а сегодня, родная моя, бэж... ну... ну... а ты сама-то как считаешь?... голубая?... Фээргэ?... А Югославия?... Япония, родная моя?... Нормальночка... а насчет бэж?

За прошедший год задница Людмилы Терентьевны еще больше округлилась. В углу комнатенки у батареи сушились черные, так называемые «чулковые» сапоги, при надевании обращавшие ножки Людмилы в подобие рояльных. В настоящий момент дама пребывала в пушистых ваннах шлепанцах, тоже «не наших». Даже в этом учреждении, где мухи дохли на лету, Людмила Терентьевна была известна своей ленью и неповоротливостью. В прошлом

Огородников не раз ускорял ее движения, а следовательно, и получение загранпаспорта при помощи то загранкосметики, то загрансумочки, однажды даже загрантуфли принес, не подошедшие четвертой жене М. Васильевой. Этим «сувенирчикам» Людмила Терентьевна радовалась, как дитя, и действительно начинала подавать своей застоявшейся в московской торговой белиберде «попе» ускоряющие команды.

В общем и целом, дама сия благоухала, как кустодиевская купчиха, и имела в мужьях какого-то солидного гэбэшника.

Войдя, Огородников прервал трикотажную тему путем поцелуя в свежую мочку правого уха. Смешно сказать, но эротический живчик мигом проскочил в цветущие недра, и паспортистка вздрогнула.

– Ах! Валентина, родная моя, я тебе перезвоню. Ах! Максим Петрович, как же это вы? Солидные товарищи, а как себя ведут!

Вздыхали под мохером Валдайские холмы, каким позавидовала бы и сама царица Российской Федерации Людмила Зыкина. Тоненькие брови полезли вверх, в пороссячьих глазках засияло. На ладони визитера лежала увесистая, обтянутая крокодиловой кожей газовая зажигалка.

– «Ронсон»!

– Он самый. Вашему мужу ко Дню Конституции, с прошедшим праздником!

Двумя пальчиками зажигалка была поднята с ладони, как редкое насекомое.

– Вот это фирма! Вот ведь умеют же! Вот будет рад Николай!

Огородников уселся рядом.

– А я, знаете, Людмила Терентьевна, так в этом году заездился за рубежом, что едва про наш Берлин не забыл, Людмила Терентьевна...

Паспортистка ахнула. Да разве ж вам Ника не звонил, Максим Петрович? Это ведь просто ж такая халатность. Чего ж еще ждать от Буренина?

Сунулась в какую-то папку, зашелестела, в другую, зашелестела, потом – боги Олимпа! – оторвалась от сидения, открыла ящичек в секретном шкафчике. Что же там у нас с этой конференцией?

– А паспорт-то готов? – небрежнейшим тоном, хоть и замерло все в животе, спросил Огородников.

– Паспорт? – Людмила Терентьевна тяжелым взглядом уперлась в Огородникова, потом развернулась к другому шкафу с алфавитом на ящиках-ячейках и вдруг радостно взвизгнула, обнаружив в секции О-П-Р искомое. – Вот ваш паспортчик, Максим Петрович! С апреля лежит готовый.

Тут она чуточку растерялась, что выдала такой государственный секрет, поджала губки, дескать, не сообщала, потому что не положено, но потом, видно вспомнив о «Ронсоне», подмигнула по-свойски:

– Вы же знаете, как у нас любят людей томить. Вот, распишитесь в получении, Максим Петрович.

Потрясенный Огородников держал в руках загранпаспорт, выданный по ведомству Дома дружбы. В Госкино и в Союзе фотографов заведены были на него отдельные паспорта. Всякий раз перед поездкой соответствующее ведомство выдавало ему паспорт, чтобы потом забрать для передачи в соответствующие глубины секретного гиганта СССР.

– На когда вам билет заказывать?

Напряжение сказалось, он пробормотал что-то несурзное – билет? просто так, взять и заказать?...

Людмила Терентьевна ничего подозрительного не заметила. Совсем уже как своему она излагала:

– Вообще-то, с этой конференцией в Западном Берлине непорядок. Ника Буренин все пустил на самотек. Знаете, из ЦК ВЛКСМ прислали двух периферийных, чем они там думают... Знаете, Максим Петрович, я вам устрою индивидуальный билет. Один полетите. Значит, на когда?..

– На завтра, – сказал Огородников, но спохватился, расслабился. – Или, пожалуй, на послезавтра...

– На послезавтрачка, – пропела Людмила Терентьевна, открыла какой-то свой гротеск и вдруг задумалась, потянулась к телефону.

Огородников вытер пот со лба.

– Увы и ах, на послезавтра у нас рейса аэрофлотовского нету. Давайте в четверг поедем, Максим Петрович?

– ОК, а за билетом я завтра заеду, Людочка...

– Ох, гоните вы меня, Максим Петрович, ой, гоните...

– Завтра заеду и духи вам привезу авансом к празднику Восьмого марта. «Мадам Роша» вам по душе?

Людмила Терентьевна просияла.

– Ну и прекрасночка! Завтра утром за билетом вашим прямо поеду! – Затем она в лучших традициях потупилась: – Щекотные у вас усы, Максим Петрович, такие, уж право, усики...

– Опасная женщина, – томно тогда прогудел Огородников, как бы оставляя тему открытой.

Все еще ошарашенный, вздрюченный до звона, он выскочил на Калининский проспект. Мелкая сволочь-дождь посыпал его голову, вокруг был общий ноябрьский, то есть велико-октябрьский сволочизм, но из-за отдаленного шпиля гостиницы «Украина» вдруг пустила закатный лучик матушка-Европа. Неужели так грубо лопухнули товарищи? Все пути перекрыли, а ДД прохлопали? Неужели проскочу?

Прежде всего – никому ни слова. Немедленно появиться у всех на глазах, чтобы «фишка» не волновалась и не искала. Тут же помчался он в «Росфото», весь оставшийся вечер колобродил там от стола к столу, торчал в баре, рассказывая брежневские анекдоты завзятым стукачам, и девочку подклеил – пробы негде ставить, известную всем сотрудницу Виолетту. Ночью в «творческой лаборатории» на Хлебном признался Виолетте в любви, пообещал немедленно развестись с женой Анастасией, которая хоть и хороша, но холодна, как глетчер, среди глетчеров и проживает, вот пусть и ищет там йети.

Виолетта изумленно на него посматривала – неужели, мол, не знает, кто я такая? – однако принимала мечтательные позы, когда он освещал ее своими лампами и щелкал из разных углов. Крамольная мысль иной раз, как ветер, проходила по ее волосам и лицу – а не завязать ли с «железами»?

Утром он повез ее на Центральный рынок и купил огромный букет роз по три пятьдесят штука. Лучше бы сапоги купил, болван, на эти деньги, подумала циничная Виолетта, но все-таки была впечатлена – какое кавказское благоухание!

Слежки за собой он в тот день не заметил, однако, расставшись со стукачкой, он сразу помчался в Дом дружбы и сделал несколько отвлекающих маневров: оставил машину на паркинге ТАССа, зашел в кассу Кинотеатра повторного фильма, потом в Дом культуры медработников, потом в Театр имени Маяковского, потом в комиссионный магазин, потом в общежитие ГИТИСа, откуда служебным ходом выскочил в пустынный переулок.

Поразительно, но в «Дружбе» все было готово: билет в Берлин, командировочное удостоверение, жалкая командировочная валюта, – словом, все, что нужно для вояжа советского «деятели культуры».

Никита Буренин ждал его в своей комнатенке по соседству с кабинетом роскошной паспортистки. Длинные ноги в вельветовых штанах и мягких туфлях протянулись от стены до стены.

Вечный мальчик-холостяк, Ника чем-то даже смахивал на самого Огородникова, оба принадлежали к редкому типу высоких, тощих и длиннолицых русских. Он идеально знал все диалекты германской речи и, в принципе, мог претендовать на хорошую карьеру, скажем, в дипкорпусе, однако год за годом и, в общем-то, уже десятилетие за десятилетием сидел в своей каморке в качестве консультанта Комитета обществ дружбы с зарубежными странами по вопросам дружбы с народами германоязычного мира на ста восьмидесяти рублях месячного жалованья.

Напиваясь иногда (впрочем, не чаще чем раз в месяц) в каком-нибудь творческом клубе, Никита говорил собутыльникам: «В моем прошлом, старички, есть нечто постыдное, есть такая гадость, что иногда противно смотреть на себя в зеркало». При затуманенных глазах и кривой улыбке произносилось это таким странным тоном, что можно было предположить даже некоторое хвастовство. Собутыльники, однако, никакого любопытства к постыдной тайне Никиты Буренина не выказывали, ну-ну, давай-давай, будто бы само понятие «прошлое» несовместимо с вельветовым человеком.

Пока жива была единственная его близкая душа, интеллигентная мама, Никиту еще пускали в поездки, в ГДР и Берлин, а иной раз даже и в любезную его сердцу Федеративную Республику, но после маменькиной кончины все поездки для него прекратились. «Объяснили мне, старичок, что не могут выпускать б-б-без як-к-корей. Нормально, старичок. У меня ведь и в самом деле не осталось як-к-корей»...

Огородников симпатизировал Буренину, и, без сомнения, взаимно.

Вот и сейчас они симпатизировали друг другу, сидя в маленькой комнате и вытянув длинные ноги в опровержение теории Лобачевского. Буренин объяснял Максимум порядок проезда в Западный Берлин. Ты прилетаешь в гэдээровский Шенефельд. Там тебя встретят светлые личности из нашего консульства в Западном Берлине...

– А без них нельзя обойтись, Ника? – лениво спросил Огородников.

– Спокойно, Макс. Одного тебя восточная стража не пропустит за стенку. Это такой порядок, старичок, для проезда наших делегаций. Я уже в консульство звонил, полный хоккей, Макс. Тебя встретит такой Зафалонцев, между прочим, не полный дундук, знает твои картинки. Он провезет тебя через Чек-пойнт-Чарли, а там уже передаст этим мудацким западноберлинским пролетариям, которые засунут тебя в какую-нибудь вшивую гостиницу в Шарлоттенбурге...

Улыбка Буренина показалась Огородникову жалкой, вдруг в позе расслабленного, вечно молодого человека проступила какая-то обреченность, взгляд бессильно скатился с лица собеседника к вельветовым кулуарам собственных штанов.

Уж не думает ли он, что я сбегу в этом Западном Берлине?

Уж не думает ли он, что я думаю, что он сбежит, с понятным унынием и непонятным стыдом думал консультант. Неужели он догадывается, что я догадываюсь, что его поездка – это просто ошибка соответствующих органов? Знает ли он, что я знаю, в каком хреновом положении его дела?..

– Как, вообще-то, твое ничего-себе-молодое, Ника? – спросил Огородников. – Не обзавелся еще якорями?

– А зачем, Макс? Зачем мне теперь якоря? Скоро уже полста набегит. Я, между прочим, старше тебя на пятак... Зачем мне якоря? В Германию ездить? В Австрию? Хочешь честно? Надоела мне и Германия, и Австрия не меньше, чем... – Он хмыкнул и, не глядя в глаза, хлопнул Огородникова по колену. – Квач унд шайзе. Будь здоров, Макс.

Они попрощались.

Следующий день Огородников весь колобродил со своей новой «невестой», хорошенькой стукачкой Виолеттой. Откуда вдруг такое пристрастие, удивлялась сдержанная девушка. Он ей объяснял словами классика: «В тот день тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову...» Понимаешь? Кажется, понимаю, шептала она, отворачиваясь.

В конце дня он даже привез ее к «новофокусникам», то есть на квартиру Охотникова. К счастью, в тот вечер завалилось не так много народу – Фишер, Васюша Штурмин, Андрей Древесный, бледный и замкнутый в очередном приступе величия, Стелла Пирогова (разумеется, со свежим пирогом), Цукер, Марксятников и Венечка Пробкин... Последний с изумлением смотрел на нежно гугукающихся Максима и Виолетту, шептал друзьям: что это с нашим шефом, кого притащил, да ведь этого кадра в Москве все знают как облупленную, я и сам ее колупал...

Охотников под водку и отвратительные охотниковские пельмени с луком, нисколько не смущаясь, рассказывал девице об альбоме «Скажи изюм!». Затем сказал товарищам, что нужно обсудить важнейшее дело, и не позже чем завтра. Виолетта тут закрыла глаза и откинулась на диване, давая понять, что ее эти важнейшие дела совсем не интересуют, а Огородников попросил Олеху собрать побольше народу на тот час, когда предполагал уже быть в Западном секторе.

Затем влюбленная пара оставила «новофокусников» и отправилась по соседству к старому другу, скрытому «либералу» с круглым глазом. Короткий путь оказался долгим, ибо по дороге не менее десятка раз останавливались с затяжными поцелуями, а потом еще из глубокого кармана английского плаща извлечена была бутылка шампанского, с шумом откупорена и опорожнена способом «играть горниста» и с громогласными провозглашениями любви. Капитан Слязгин поскрипывал зубами в своем «рафике».

Ввалились к «либералу». Голуба, мы гудим! Открывай свой иконостас. Либерал опешил – открыть «иконостас», вот эту красочную коллекцию импортных напитков? Помилуй, Макс, да ведь это же просто экспозиция, просто-напросто поп-арт! Открывай, сукин сын, ты мне друг или портянка, за мной не заржавеет, выпьем за любовь! И пока «либерал», кряхтя, вытаскивал из «иконостаса» что-то самое неценное, какой-то вермут югославский, кружились с Виолеттой в танце, сбросив туфли, по болгарскому ковру, мимо рабочего стола, где сочиняемая в текущий момент статья о творчестве Александра Спендера прервана была на фразе «Трагический разлом времен отразился в творчестве этого противоречивого мастера». Обернувшись с бутылочкой, «либерал» никого в комнате не застал. Только из ванной слышалось шумное, восторженно срывающееся дыхание двух столь бесцеремонных тел.

Расставшись в час ночи с Виолеттой, Огородников подъехал к зданию Центрального телеграфа. Там на лестнице его ждал Шуз Жеребятников. Странная фигура. Седая артистическая грива падала на плечи тяжеловеса, а на глаза была надвинута блатная восьмиклинка. Они вошли в зал междугородних переговоров, где, несмотря на поздний час, полно было еще армян и грузин.

– Шуз, не падай в обморок. Завтра я могу оказаться «за бугром».

Шуз, чье имя в начале тридцатых годов произведено было восторженными родителями от дивного словосочетания «Школа-Университет-Завод», в обморок не упал.

– С концами? – спросил он. Узнав, что не «с концами», просто кивнул, но видно было, что рад.

– Шуз, у меня командировочное удостоверение – в принципе, прохожу без досмотра. Может быть, рискнуть и сволочь «Изюм»?

Он коротко рассказал дружку, как все сложилось и как протекает в настоящий момент. Похоже, что меня закружила какая-то везуха, а «фишка» сейчас раскручивается в другую сторону. Конечно, валить на нахалку через кордон с альбомом под мышкой рискованная игра, но, с другой стороны, второго такого случая явно не будет.

Дорогущее кожаное пальто прибавляло Шузу монументальности. Некоторое время он стоял молча, напоминая что-то из советской классики, потом вдруг спросил совсем «не по делу»:

– Фраер, а ты Стаське дал знать, что линяешь?

Огородников ахнул – законная жена забыта! Кандидат наук по гляциологии Анастасия предпочитала уменьшительное Стася, однако законный супруг называл ее Настей. Месяцами она сидела в своих горных экспедициях и, естественно, супругом забывалась. Что поделаешь, равнинные и высокогорные люди, увы, далеки друг от друга. Когда в ясную погоду с Эльбруса смотришь вниз, ужасаешься скоплениям копоти даже в близлежащих долинах, что уж говорить о мерзости городов. Третий месяц Анастасия жила в академическом поселке долины Азау, и, честно говоря, наш герой попросту забыл о существовании своей шестой уже законной жены, нет, простите, увы, уже седьмой, если считать Викторию Гурьевну и М. Васильеву. Стыдно, конечно, но в данный момент, может быть, ее и не стоило бы вспоминать по соображениям конспирации. Шуз, однако, распорядился иначе. Повсюду в Москве у него были друзья, и переговорная станция не исключение. Обойдя грузино-армянскую очередь, он пошептался с какой-то телефонисточкой и через пять минут крикнул Огородникову:

– Иди в одиннадцатую кабину!

Стася, сказал Огородников, это тебя «левак» беспокоит. Мы завтра выезжаем на западный склон Памира, и я хотел уточнить дату симпозиума.

Должна же понять, подумал он. Во-первых, Стасей называю, а не Настей, ну и потом вспомнит же «левака»...

– Сейчас это называется симпозиумом? – таким знакомым, всегда почему-то возбуждавшим его голосом сказала она.

Он представил себе, как она сейчас стоит в темном коридоре у телефона и за спиной у нее окно с Эльбрусом, под луной на горе видна каждая складочка. Плунуть на дикую игру с «фишкой» и улететь туда.

– Будто ты и сам не знаешь даты симпозиума, левак коварный, – засмеялась Анастасия. – Надеюсь, позвонишь с Памира?

Он даже задохнулся от восторга – мгновенно все усекла, какая баба! Благодарю Всевышнего за такой подарок судьбы и каюсь, каюсь, каюсь в своей распутной грязной жизни.

Повесив трубку, он увидел, что Шуз с расстояния пяти или шести метров целится в него зеркалкой. Вместе они вышли на улицу. Ночной воздух стал суше и холоднее. Пахло приближающимися снегами.

– Ну, как она реагировала? – спросил Шуз.

– Послушай, кажется, ведь не раз договаривались не снимать друг друга, – с явным раздражением проговорил Макс.

– Да я и не снимал, просто смотрел. У тебя была довольно дикая рожа и поза, как... как... О'кей, Огороша, давай по делу. Брать альбом с собой рискованно. Ты лучше, как разберешься, махни из-за бугра, и мы попытаемся здесь сработать верняка. Лады?

Наутро, едва продрав глаза, Максим уже звонил Виолетте на работу в бюро обслуживания Союза архитекторов СССР. Договорились вместе пообедать в Доме кино.

Приблизительно в это время генерал Планцин вошел в кабинет, где трудились оперативные сотрудники. Любимый сотрудник, одаренный капитан Сканцин, отличался эмоциональностью в подходе к делу. В данный момент он просматривал последние сводки на своего подопечного М.П. Огородникова, крутил головой и хихикал:

– Ох, оптимист все же этот Огород... настоящий, товарищ генерал, оптимист... Вот и Виолетка звонила, уточняла детали... ничего не скажешь, настоящий оптимист...

Планцин Валерьян Кузьмич, вновь отяжелев лицом, держал в руках стопочку «оперативок». Неужели этот Огород не понимает, куда все его дело катится?

### III

Все шло как по маслу. Максим подъехал к Дому архитекторов за пятнадцать минут до назначенного срока и видел, как от подъезда отчалил в своем «Жигуле» куратор Вова, быстренько дунул в конец переулка под знак «проезд запрещен».

Стоял солнечный день с легким морозцем. Ледяная пленка на лужах трескалась под шагами подходящей Виолетты. На лице статной пышноволосой сотрудницы можно было прочесть смесь человеческих чувств, привет и надежду.

В Доме кино, конечно, было полно знакомых. Развязный Кичкоков подрулил к их столу, зашептал в ухо:

– Макс, ты что, не знаешь, кто эта особа с тобой?

– Садись, Кичкоков, – пригласил Огородников этого типа, репутация которого по части стукачества тоже оставляла желать лучшего. – Виолетта и я будем рады, если ты отобедаешь с нами.

Кичкоков упрашивать себя не заставил. Не веря своей удаче, он смотрел, как на столе появляются икра и набор рыбы, шампанское, коньяк и шашлыки по-карски за тройную цену. Он не понимал, почему его вдруг пригласил надменный Ого, а потом, глядя на волшебные сближения рук и ног над и под столом, догадался – любовному счастью необходим свидетель.

В подходящий момент Огородников помчался пописать, а из туалета выскочил на улицу, нырнул в свою «Волгу», поколесил, оставил машину на стоянке возле Тишинского рынка и здесь кликнул «левака». Через полчаса он был в международном аэропорту Шереметьево.

Таможенник ему попался со значком юрфака в петлице.

– Что-то давно ваши работы в печати не появлялись, – сказал он.

– Ну, вы же понимаете, какие сейчас времена, – ответил Огородников, как «своему», и таможенник, очевидно, этим был весьма польщен.

Конечно же, он не притронулся ни к атташе-кейсу, ни к фотографическим сумкам. При таком таможеннике можно было вывезти и не одну копию «Изюма», но кто же знал, что такой попадется интеллигентный приветливый человек.

Аэропорт был почти пуст: после афганских событий детант стал испускать вонючий дух, за дурацкой маской матрешки туристы, то есть современное человечество, опять увидели свирепую пасть. Огородников бодро шел через пустой зал к пограничному контролю, когда вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и споткнулся. Значит, не вышел номер. Чудес, оказывается, и в самом деле не бывает. Теперь главное – не потерять лица. Издеваться над собой не позволю. Он вынул сигарету, медленно, на прикуривании, обернулся и увидел за стеклянной стеной одинокую женскую фигуру, в которой без труда угадывалась его законная жена Анастасия.

Она не шелохнулась. Он не приблизился. Сомнений нет – ночью она звонила Шузу и узнала, куда и когда я лечу. Видимо, предположила, что я уже не вернусь с Западного Памира. Рванула на самолет в Минводы. Хоть краем глаза в последний раз. Неисправимый романтизм русских студенточек.

Эта формуленция помогла ему преодолеть сентиментальное желание, как в кино, в последний момент броситься к любимой и быть схваченным подоспевшими волкодавами. С этой формуленцией он приблизился к священной границе социалистического отечества и, пока круглолицый болван с комсомольским значком проверял его паспорт, поглядывал на одинокую фигурку и повторял «неисправимый романтизм русских студенточек». Нака-

чав таким образом некоторое раздражение против НРПС, он без напряжения и даже рассеянно встретил цепкий взгляд комсомольского болвана-пограничника.

КБ нажимает в своей кабинке какую-то педаль, турникет открывается, и ты за пределами отечества, хотя вовсе еще не значит, что ты на свободе. Эти суки могут тебя обратять и в международной зоне аэропорта, и на борту самолета запереть в сортирный чуланчик, как недавно поступили с нежной балериной В., и в братской республике захапуют за милую душу. И все-таки как трепещет душа, когда ты пересекаешь линию турникета, какое-то в душе происходит сотрясение при пересечении, когда угрюмый большевизм души преодолевается ее же светлым либерализмом. Несмотря на международный опыт и антипартийную закуску, Огородников всегда оставался хоть и неполноценным, но советским человеком.

Где там русские студенточки с их неисправимым романтизмом? Стеклоанфилады уводили все дальше. Дура Настя могла сорвать все дело... «Из тюрьм приходят иногда, из-за границы никогда»... станется с Насти...

Он вошел в бар и спросил рюмку коньяку. Потом пошел к телефону-автомату, позвонил в ресторан киношников и попросил официантку. Ритка, сказал он ей, это Ого. Через час приедет Жеребец и заплатит по моему счету. Схвачено? Целую. Вернулся в бар и спросил еще рюмку коньяку. Сказал с иностранным акцентом «Поултоураста». Настроение стремительно улучшалось. В зеркале отражался международный артист-фотограф. Если к нему подойдут и попросят *пройти с ними*, он поднимет скандал. Пусть тайное станет явным! Требуем немедленного отделения искусства от государства! Хвала неизжитому романтизму русских студенточек! Битте шен, эстчо поултоураста!

В этот момент чья-то рука легла на его плечо. Итак, свершилось. Мужество, призываю тебя к действию! Прежде всего допить коньяк. Там не дадут. Затем – стряхиваем поганую лапу.

- Да ты что, старик?
- А, это ты! А я думал, это не ты!
- С похмелья, что ли?
- Угадал.
- Куда летишь?
- В Эфиопию.
- Молодец, Макс, просто молодец! Сейчас как раз нужно быть в Эфиопии.
- А ты куда, отец, рулишь?
- В Брюссель. Освещать сессию Совета НАТО. Октябрь, кажется, тоже там будет.
- Передай Октябрю привет. Скажи, что братишка в Эфиопию полетел.
- Молодец ты, Макс. Очень важно сейчас быть в Эфиопии.
- Знаю, киса. Потому туда и лечу.
- Ну, пока!
- Счастливо.

Огородников глубокомысленно наблюдал удаление толстожопого международного. Вот удивительный феномен нашего времени: человек выступает по телевидению со своим худым европейским лицом, и никто из зрителей не подозревает, что у него такая роскошная азиатская жопа.

Через полчаса объявили посадку, и Огородников, изрядно к этому времени набухавшийся, плюхнулся в кресло, чтобы проснуться уже в мягком сумраке оккупированной Центральной Европы. Аэропорт Шенефельд, Германская Демократическая Республика, бастион прогрессивного человечества.

## Берлин

### I

Первая мысль: даже здесь лучше, чем дома. Вторая мысль: здесь хуже даже, чем дома. У пограничников рожи нацистов, портрет Маркса предполагает разгул блох, циркуль и рейшина напоминают орудия пытки. Ире папире, ире папире... Трое мышино-серых потрошили огромные заплечные мешки английских мальчиков и девочек, едущих из Китая. К советским геноссе холодное почтение, два пальца под козырек.

Вдруг уже за линией контроля Огородников увидел знакомое чучело в перуанском пончо, с трубкой в зубах. Берлинский коллега Вольф Шлиппенбах, вместе когда-то учились на операторском факе ВГИКа.

Обычно Вольф сидит в своей студии на Шосее-штрассе, фотографирует цветы. В этой его бесконечной серии цветов, как говорится, «что-то есть». Он называет их «Волчьи цветы», то есть «Вольфблуме». Партийцы его спрашивают: какое идейное звучание у ваших «Волчьих цветов»? Это просто «блуме», говорит он, а я просто Вольф. Куда это вдруг собрался старый Шлиппенбах?

– В Югославию на курорт, – объяснил он.

– Поздравляю, – сказал Огородников. – От югов ты наконец-то сможешь мотануть на Запад.

– Я передумал, Макс, – сказал Шлиппенбах. – Никогда не мотану на Запад. Там слишком много коммунистов, Макс. В ГДР люди легче понимают друг друга.

Огородников увидел себя и Шлипа отражающимися в стеклянной стене. Вместе мы выглядим безобразно. Поодиночке еще терпимо, а вдвоем – настоящие антисоциалистические элементы.

– Посмотри, Макс, на этих двух «горилл», – сказал Шлиппенбах. – Мне кажется, они ждут тебя. Я прогуливался мимо и слышал твое имя.

Два битюга лет под сорок с одинаковыми зонтиками растерянно разглядывали пассажира московского самолета. Скованность поз безошибочно представляла совчеловеков. Вот странность: казалось бы, поработили уже пол-Европы, так и смотрите на всех этих «пшек» победителями, ан нет – совчеловек в соцлагере самый ущемленный, самый кривоватый, будто грыжу зажал между ног.

Филяхт, Филяхт... Огородников смотрел на этих двоих. Скорее всего, один из них как раз и есть тот самый Зафалонцев из консульства, о котором Ника говорил. А вдруг «фишка» уже спохватилась и послала за мной своих «горилл»? Почему же они не подошли ко мне? Внешность не совпадает с воображаемой? Однако «фишка» должна знать внешность преступника. Почему же эти двое, явно растерянные, не обращаются в информацию, не вызывают прилетевшего деятеля по радио? Вот слышно, как шепчутся – «не прилетел, наверное...» «нету его...», а обратиться за помощью к обслуге не решаются; стесняются? Языка не знают? Странные какие-то пошли дипломаты. Так или иначе, другого пути через стенку нет. Он приподнял шляпу.

– Пардон, товарищи, вы не меня ли ждете? Максим Огородников, к вашим услугам.

Так и оказалось: встречающие из консульства Зафалонцев и Льянкин. Вот уж не предполагали, дорогой Максим Петрович, именно в этой личности идентифицировать именно вас, члена Правления СФ СССР, 1937 года рождения, лауреата Государственной премии. Мы думали, это просто часть толпы. Смутило наличие усов. Хорошо то, что хорошо конча-

ется. Короче, добро пожаловать в город Берлин! А этот товарищ не с вами? Ну и прекрасно. Машина ждет.

## II

Приближение к любимому детищу супружеской пары Хрущев – Ульбрихт, то есть к Берлинской стене. Предстенная зона – пустынные дома, надолбы, торчащие из торцевой мостовой, будки коммунистической стражи, шлагбаумы и за ними всемирно знаменитый пропускной пункт «Чарли». Гэдээровский пограничник с непроницаемой миной, которую можно принять и за машинную подчиненность, и за скрытую ненависть, берет под козырек перед советским флажком на дипломатическом «Мерседесе». Английские солдаты на другой стороне, кажется, играют в карты, не обращая внимания на проехавшую с Востока машину. На Западе к стене можно подойти и помочиться, можно намазать на ней любой политический лозунг, любую похабщину, что и делается.

Товарищ Зафалонцев внутри «Мерседеса», т. е. на советской территории, кардинально переменяется. Застенчивости с косолапостью как не бывало. Развалившись на переднем сиденье и обернувшись к гостю, разговаривал с профессиональной полуусталостью, со смешком, со свойственным советским талейрантам полужизнью к стране аккредитации.

Максим Огородников, борясь с омерзительным волнением, смотрел на западные вывески, мелькающие за окном машины, внимал инструкциям Зафалонцева. Лицо пытался держать непроницаемым, как бы напоминая о номенклатурном расстоянии, однако временами вдруг перекашивалась щека, возникала икота, и тогда советник Льянкин удивленно поднимал тонкие китайские брови, с волнением принимаясь к коньячному перегару.

– ...Эти деятели из «Объединенного фронта социалистов в искусстве» вместе с Баптистской академией резервировали для вас номер в отеле «Регата», между прочим, вполне приличном. Завтра к вам такой Том Гретцке явится, поосторожнее с ним – с нами сотрудничает, но философия анархическая, скользкий товарищ. Мы с вами выходим на связь в десять утра. Лады? Срок пребывания у вас три дня, но, я думаю, денек-другой мы вам сможем подбросить. И отовариться, возможно, устроим в посольском магазине. Эти вопросы я согласую в верхах. Лады? Ну, вот перед вами Западный Берлин, Максим Петрович. Вы здесь впервые? Мда-с, не тот стал нынче город, померк по сравнению с временами «холодной войны». Хиреет экономика, культурная жизнь чахнет... Ну, в общем и целом пусть чахнут и хиреют, нам, что ли, их жалеть, – он по-блатному подмигнул, – согласны, Максим Петрович? Упадок этого города ведь в наших же интересах, правда, Максим Петрович?

Зафалонцев с интересом ждал, как ответит гость на этот «тест», внимательно смотрел ему в лицо.

Не юлить же мне, однако, перед этим типом, подумал Огородников. Надо ему показать, что он в чинах не разобрался. «Отовариться», «денек подбросим»... Отдаете себе отчет, кого везете? Подите-ка, братцы, на конюшню и скажите, чтоб задали вам плетей.

– Не понимаю, – сказал он.

– Ну, как не понимаете?! – Зафалонцев даже губы надул, будто с ребенком разговаривает. – Зачем же нам, социалистическому лагерю, этот Западный Берлин? Вот отсюда и вытекает идея, Максим Петрович, чего же проще...

– А я вас не понимаю, – очень отчетливо сказал Огородников, в голосе послышалось отдаленное погромыхивание, раздулись горьковские усы, торговая марка соцреализма.

Зафалонцев, пораженный, как бы вывернул шею, перевесившись с переднего сиденья со своими выпяченными губами и вытаращенными глазами. Этот «тест» был его личным изобретением, и он всегда его с определенным успехом применял к прибывающим товарищам, а вот с такой загадочной реакцией столкнулся впервые. Как будто пыльным мешком, можно сказать, по башке ударили, да еще в присутствии Льянкина и шофера-ушки-намакушке. Он растерянно забормотал:

– Да я ведь, Максим Петрович, просто по логике рассуждений... чего капиталистам плохо, то нам, коммунистам-то, хорошо... верно?.. где русскому здорово, там немцу смерть... ага?

Огородников с неприкрытой уже угрозой, как бы грохоча по словам кованым сапогом:  
– Я... ВАС... НЕ... ПОНИМАЮ...

Застывшее изумление на китайском лице советника Льянкина. Шофер делает плечами одобрительное движение в адрес Огородникова.

До Зафалонцева наконец дошло. Кажется, не по чину разговариваю. Приезжий лауреат явно указывает на субординацию. Не простая, видать, птичка...

Придя к такому заключению, он тут же перестроился и переменил тон:

– Вот и гостиница ваша, Максим Петрович. Номер с ванной, мы проверили. Значит, вы с этой шатией революционной не особенно церемоньтесь, Максим Петрович, а то затаскают по своим дискуссиям...

– Благодарю за доставку, – сухо сказал Огородников, всем обстоятельно пожал руки и вышел из машины.

Войдя в номер «Регаты», швырнул в один угол шляпу, в другой – сумку, подпрыгнул и цапнул рукой потолок – Запад! Плащ полетел на пол, и Максим, словно ныряльщик, сиганул на тахту – к телефону, к телефону! Раздвинулся железный занавес, с легким треском, как в борделе, отошел и бамбуковый, желтая телефонная книга приглашала в открытый мир – Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон, Токио... Осень, остров Свободы...

В ту ночь в фотографических кругах указанных выше мировых центров, а также среди русской эмиграции стала распространяться сенсация – Максим Огородников каким-то образом оказался на Западе.

### III

...уснул Берлин в растаявшем снегу а почему нынче сено у извозчиков Вены не советую  
пошло издеваться над Осло направляя фольксваген в продувной Копенгаген...

## Уик-энд

### I

К Олехе Охотникову пришел в штаб-квартиру Моисей Фишер и привел с собой незнакомого молодого человека.

– Ты чего, гребена платье? – так приветствовал Олеха товарища.

– Я просто зашел к тебе об искусстве поговорить, – сказал щупленький еврей широкогрудому помору. – Разве нельзя? Что у тебя, баба, Олеха, что ли?

– Заходи, – сказал Охотников и тут же отправился на кухню. В одной из комнат незаконно занятой двухкомнатной квартиры под сильной голой лампочкой стоял здоровенный стол, на нем, словно могильная плита, возлежал макет фотоальбома «Скажи изюм!». Все остальное было погружено в темноту, так, во всяком случае, показалось вошедшим. Через несколько минут, впрочем, стало видно, что вокруг стола и по углам царит жутчайший беспорядок, именуемый в современном русском языке энергичным словом «бардак»: горы папок и пакетов, увеличители, станок для разрезания фотобумаги, бачки, железные коробки, пузырьки, бутылки, бутыли...

Фишер соответствующим жестом пояснил своему спутнику, что вот теперь тот – в «святая святых», в таком, можно сказать, убежище свободного духа, где производится неподцензурный альбом «Скажи изюм!», который может стать...

– Чем, простите? – спросил спутник, тихий блондинчик лет двадцати пяти – двадцати семи.

– Вехой в истории советского фотоискусства, – сказал Фишер.

– Как интересно, – в манере, очень подходящей к моменту, то есть благоговейно, прошептал молодой человек.

Явился Охотников с кастрюлей вареной картошки, куском масла и початой бутылкой омерзительного «коньячного напитка».

– Больше угощать нечем.

Он почему-то полагал, что всем приходящим надо дать что-нибудь пожевать или промочить глотку. Порой в «охотниковщине» можно было увидеть парижских снобов, жрущих квашеную капусту и глотающих несусветную советскую алкогольную гадость. Этот Охотников, ох уж этот Охотников, говорили потом о поморском сыне в Париже.

– Если позволите, я кое-что добавлю, – с удивительным тактом произнес молодой блондин. – Совершенно случайно... полностью непредвиденно... но, может быть, кстати... – Из своего объемистого портфеля он извлек несколько свертков дивной парафинированной бумаги, развернул их и предложил обществу граммов около двухсот малосольной лососины, примерно столько же широченных и тончайших кругов вымирающего вида «столичной» колбасы, некоторое количество хорошо известного москвичам по художественной литературе «швейцарского» сыра с дырой и слезой. К этому добавлена была баночка греческих оливок и ноль семьдесят пять давно исчезнувшего с поверхности грузинского вина «Цинандали».

– Да ведь мы живем, человеки! – вскричал Олеха.

– Что ли! – потер руки Моисей.

– Где берешь такой паек? – прищурился Охотников на молодого человека.

– Видите ли, я имею доступ в буфет третьего этажа МГК КПСС, – спокойно и скромно объяснил гость. – Нет-нет, не волнуйтесь, я не оттуда, просто случайные связи... ну вот,

иной раз захожу и беру ограниченные количества того и сего. – Он сделал соответствующий жест продолговатой ладонью с мягко очерченными линиями судьбы.

Охотникову все это чрезвычайно понравилось, между прочим, и внешность молодого человека с его европейско-русским лицом и густыми длинноватыми, но не очень, по тогдашней моде, волосами, понравилась тоже. Недурен был и костюм, ловко сидящий, кажется, финский тергал. Никакого к тому же формализма – пуговики на воротнике расстегнуты, в сторону сбилась шейный фуляр. Понравилась Охотникову и речь молодого человека и жестикуляция, чрезвычайно понравился, например, вышеназванный жест ладонью, равно как и сама ладонь, мать честная.

Олеха Охотников поймал себя на том, что в нем шевельнулось какое-то подобие гомосексуального чувства к этому молодому человеку, и поэтому спросил с нарочитой грубостью:

– А ты кто таков, чело?

– Ах, простите, ведь я вас не познакомил, – по-светски сказал Фишер. – Олеха, перед тобой Вадим Раскладушкин.

Охотников даже ухнул от удовольствия – ух, и фамилия ему пришлась по вкусу.

– Кажись, ты, чело, тоже фотограф? Небось снимки принес в «Изюм»? – уже без всякой нарочитости спросил он.

– Знаете ли, Охотников, – ответил Вадим Раскладушкин, – конечно же, я фотограф, однако, знаете ли, пока я не решусь предлагать свои, так сказать, пробы пера туда, где выступают такие мастера, как вы, Охотников, или Моисей, не говоря уже о гигантах типа Германа, Древесного, Огородникова...

И эта речь понравилась Олехе Охотникову. Подняли стаканы. Удивительным образом мерзейший «коньячный напиток» оказался всем троим доброкачественным и ароматным бренди. Возник момент душевного единства.

– А мы с Вадимом, понимаешь ли, прогуливались, философствуя, – объяснил Фишер. – И тут я подумал, что невречно было бы вас познакомить, человеки.

– Меня, Охотников, интересует фотография как таковая в ее отношениях со средой, – сказал Вадим Раскладушкин. – Вот вы, на основании личного опыта, могли бы меня просветить?

– Эх, человеки! – Олеха Охотников уже вскарабкался на первую ступеньку опьянения, ту, что он потом, с похмелья, называл «примитивной задумчивостью». – Я, как тот солдат, завсегда об этой бляди думаю, а толку чуть. Вот возьмите национальную бредовину нашей фотографии. Говорят, что ее вообще не существует, дескать, полный интернационал, мировые стандарты. Однако американский фотограф просит натуру произнести cheese, чтобы пасть растянулась и обнажилась клавиатура зубов, демонстрируя оптимизм. Русский фотарь между тем любезно просит сказать «изюм», чтобы губки сложились бантиком, скрыв гнилье во рту и подлые наклонности. Глубочайшая разница, человеки и джентльмены! Из русской позиции все принципы социалистического реализма проистекают!..

Тут прошла вторая рюмка душистого крепкого бренди, и Охотников весь одним махом звинтился, борода и грива, скачок на ступеньку «примитивного пафоса».

– Для меня существует один лишь социальный заказ – лови улетающее мгновение! Божьим странником броди посреди мира, щелкай своей одинокой камерой... Фотографический процесс соединяет нас с астральным миром. Фотография суть отпечаток праны. С этой точки зрения... – постепенный подъем на ступеньку «примитивного вызова», – ...с этой точки зрения, какого фера они к нам все время цепляются?

Тут Олеха Охотников слегка перевел дух, и в эту паузу, опять же до чрезвычайности тактично, показывая, что, не будь паузы, он никогда и не осмелился бы прервать, вошел с вопросом Вадим Раскладушкин:

– Простите, Охотников, – «они» – это кто?

– «Фишки», – тут же пояснил мастер фотографии и прищурил левый глаз. – Ты, надеюсь, не из них будешь?

– Боже упаси, – улыбнулся Раскладушкин.

– У писателей есть своя «лишка», это более-менее понятно, – продолжал Охотников. – Писатель – гад, деформирует действительность подлым воображением. «Лишка» требует, чтобы писатели искажали в их пользу, то есть соц-, а не сюрреализмом, давит на них, стучит, это вполне нормальное, очень естественное в данном обществе дело. Ну, а фотари-то несчастные чем не угодили? Ведь мы только щелкаем действительность, и больше ничего. Почему к нам претензии, а не к действительности? Если вам, говноедам... – тут Раскладушкин мягко улыбнулся неожиданной грубости Охотникова, – собственные рожи не нравятся, так давите на собственные рожи, а не на фотографов. Вот, вообрази, Раскладушкин, два года назад союз послал меня на «перековку». Хватит, говорят, подзаборные гадости снимать, иди освещай работу комсомольского съезда. Принес я со съезда серию портретов, а они мне говорят – «это антисоветчина». Какая же, ору я, антисоветчина, если это ваши собственные рожи, а значит, самая настоящая советчина? Так-так, говорят, и смотрят, и смотрят, и вижу, как «фишка» меня просвечивает.

Или вот, например, Мойша поехал в командировку на БАМ... Жить надо, семью кормить надо? Помнишь, Мойша, как тебе бамовскую серию зарубили?..

– Что ли! – Фишер щелкнул языком.

...Сионистский, говорят, взгляд на советский народ. Ну, где, где же тут сионизм можно найти, Раскладушкин, кроме подписи под снимком, да и то ведь Фиш – на всех языках рыба, а снимает Мойша японской оптикой... Что важнее для снимка – оптика или глаз?..

Тут Охотников взял молодого гостя обеими лапами за оба колена, пригнулся над чемоданом, на котором, собственно говоря, и было сервировано пиршество, и уставился прямо в глаза.

– В ваших рассуждениях, равно как и вашем последнем вопросе, есть некоторое лукавство, – улыбнулся Раскладушкин.

– Не без этого! – захохотал Охотников.

Зазвонил телефон, и он, бросив колени нового друга, пошел в угол, к одной из гор мусора, то есть к расположению полезных вещей. Ну, как впечатление, спросил глазами Фишер. Гений, тем же ответил Раскладушкин, знамение времени...

Охотникову звонил Огородников. Привет, Макс, сказал Олеха. Нет, еще не собрались, один только Фишер с другом. Часа через два начнут подгрести. А тебя ждать когда? Не ждать? Это не по делу, человеке. Народ разочаруется, особенно иностранцы, особенно, конечно, женщины иностранного происхождения. Шучу. Подгрести, маэстро. Не сможешь? Далеко находишься? В Берлине? Большое дело, бери тачку и приезжай. Хочешь, Веньку за тобой пошлю? Ты не в ресторане «Берлин»? Как тебя понимать? В городе Берлин? В Западном Берлине? Что? Чего? Отпад! – завопил он и впрямь отпал от телефона. Вытаращенные глаза и вставшие дыбом волосы создавали впечатление начинающегося пожара. Впрочем, непристойное это изумление длилось не более полуминуты, после чего Охотников в ответ Огородникову радостно гоготал, кричал несвязное, типа «расшибец», «конец света», «полный вперед», спрашивал о западноберлинских «партийных кадрах», то есть о девках, а под конец даже пропел из Высоцкого: «Как там дела, в свободном вашем мире?»

Повесив трубку, он вытер руки о рубашку на груди, и там стало влажно.

– Моисей, ты понял, что произошло? Ого из-под носа «фишки» ушел на Запад! Вот так сенсация! Он сказал, что Шуз все объяснит на общем собрании. Вот так будет сенсация! Видишь, Раскладушкин, а говорят, что нынче в мире невозможны чудеса. Жизнь показывает другое, да и как же может быть иначе, если только надеждой на чудо жив род человеческий?!.

Вадим Раскладушкин тогда поднялся, поблагодарил хозяина за прием и сказал, что далее не считает себя вправе оставаться в «Новом фокусе» в связи с такой исключительной сенсацией, которая потребует, конечно, интенсивных дискуссий в кругу посвященных.

Эта реакция новичка на «сенсацию» тоже понравилась Олехе Охотникову. Провожая гостя, он подарил ему пачку заветных «тихоокеанских» снимков, помял ему изящное плечо и тонкую руку, пригласил заходить почаще, если пофилософствовать приспичит или еще чего... Тут наш новый Ломоносов вдруг засмутился, как девушка, и, чтобы скрыть смущение, пробурчал:

– А сейчас вались, человеке, к жуям жрячьим, видишь – не до тебя...

Вадим Раскладушкин вышел на крыльцо кооператива «Советский кадр» и, конечно, сразу же увидел, что в микроавтобусе «Скорой помощи», дежурившей напротив, царит какая-то неуклюжая неразбериха, сродни панике.

– Нет конца этим играм, – вздохнул молодой человек, – нет конца этим страннейшим, страннейшим и хаотическим играм...

## II

Пятидесятилетний человек, тяжеловатый и по-государственному сумрачный, стоял у окна в своей квартире на восьмом этаже правительственного высококачественного дома, что всякому известен в Атеистическом переулке столицы. Это был не кто иной, как Фотий Фёклович Клезмецов, первый секретарь Союза советских фотографов Российской Федерации. Собственно говоря, первый секретарь лишь на мгновение остановился возле окна, как бы делая паузу в своей беседе с важным гостем, но, остановившись, как бы прилип: в родном Атеистическом переулке за окном почудилось ему что-то странное, и он никак не мог поначалу догадаться, в чем эта странность состоит.

Атеистический переулок, получивший свое наименование в недоброй памяти третьем десятилетии нашего века, был в этот ноябрьский вечер хмур. Соответствующая толпа двигалась по нему в двух направлениях, из метро и в оное, расположенное на протекающем поблизости проспекте Голубя Мира, получившего свое изящное название в пятом десятилетии нашего века, то есть тогда, когда святыни третьего десятилетия оказались под вопросом. По соседству с проходящей хмурой толпой от Голубя Мира вдоль Атеистического ехал велосипедист. В этом и была странность – велосипедист среди зимы.

Не кто иной, как Вадим Раскладушкин, весело вселял свою прыть через педали в колеса, будто бы с одной лишь целью – оживить городской пейзаж. У московского гражданина первая реакция на чудака, конечно, нехорошая. Разъездився тут. И зимой от них деваться некуда. Но вот приближается Вадим Раскладушкин, и строй мыслей московского гражданина почему-то меняется. А чего же не поехать-де велосипедом молодому человеку, если ездится, отчего же педали не покрутить, если крутятся? Вот такой появлялся антисоветский порядок размышлений при взгляде на стройного велосипедиста с гривой светлых волос из-под теплого кепи, едущего в вертикальной позиции на велосипеде с высоким рулем, облаченного в легкое шерстяное пальто, имеющего на груди фотик, имеющего притороченный к раме велосипеда портфель, во внутренностях которого можно было предположить вкусные вещи в лимитированных пристойных количествах. Приятное, в самом деле, зрелище, улыбающийся и слегка кивающий встречным велосипедист.

Вот так, проехав по мокрому асфальту, лавируя меж луж и плешин грязного снега по мрачному переулку с его дурацким названием, вот так прокатив в предсмертный час пик, молодой фотограф все-таки как-то повлиял на общее недоброе настроение русской столицы, вызвав хоть и микроскопический, хоть и секундный, но сдвиг к лучшему.

Даже и Фотий Феклович Клезмецов позволил себе на минутку смягчить государственный взгляд и подумать: вот среди зимы едет русский молодой человек на велосипеде нашей советской работы, где такое еще возможно?.. С этой доброй русской мыслью Фотий Феклович обернулся к важному гостю, и ему стало чуточку не по себе: он понял, что важный гость во время паузы не отрывал от него внимательного взгляда. Но вот пауза истекла, гость оторвал от хозяина тяжелый аналитический взгляд, улыбнулся и хлопнул ладонями по подлокотникам кожаного кресла, в котором, собственно говоря, пользовался гостеприимством. Отличные кресла у вас! Такие удобные! Финские?

Он, этот важный гость, конечно, уже успел отметить, как капитально все организовано в этой еще не вполне обжитой квартире: финская мебель, японская звукотехника, братский, т. е. чехословацкий, хрусталь, ну а в кухне, уж извините, царит Франция. Возражений, собственно говоря, никаких нет – почему бы и не пожить в достатке, когда подошло к полста, сделано хозяином немало полезного, хотя и ошибок, надо сказать, натворено в свое время немало.

Глупо скрывать, подумал в ответ Клезмцов, ошибки были. Партия знает, что от ошибок никто не застрахован, даже Она.

В этот момент, многоуважаемые господа отечественные и зарубежные читатели, мы вновь применяем технику стоп-кадра, и вовсе не для того, чтобы щегольнуть «кинематографическим приемом», который, собственно говоря, уже оскомину набил в современной прозе, а по суровой необходимости совершить путешествие в прошлое Фотия Фекловича, ибо без этого заскрипит наша главная забота – сюжет. Выпусти Клезмцова на страницы без его прошлого, сюжет, конечно, не развалится, однако возникнет в нем некоторый перекос, периодические скрежеты и взвизги. Начнет расползаться внутри псевдомодернистский хаос; чего доброго, вздохнет утомленный повсеместным модернизмом читатель и отложит в сторону книгу скрежетать и взвизгивать в одиночестве.

Итак, стоп-кадр: важный гость, утопающий в кресле, хозяин, в неуклюжей позе застывший у окна, между ними на низком столике бутылка французского коньяку.

## Ошибочки

### I

Мда-с, ошибочки у Фотия Фекловича были, и не в юности мятежной, как можно было бы предположить, а вот как раз к зрелости, к молодому мужскому зениту больше всего дров наломал, кое в чем не разобрался.

В юности-то как раз, еще на факультете, когда белесого угловатого провинциалишку все называли Фотиком, в те времена развивался правильно, хотя и сложные были, такие противоречивые времена. С одной стороны, со злоупотреблениями культа личности партия покончила, то есть можно было не опасаться неожиданного расстрела, а с другой стороны, устои-то ведь не зашатались, и, трезво рассудив, юный Фотик решил, что «прививка от расстрела» (как Мандельштам это назвал) на будущее не помешает.

«Прививку» эту надо, конечно, понимать аллегорически, в расширенном, конечно, историческом значении, равно как и докладную в партком записку можно лишь по примитивной логике называть «стуком». Вот если по этой примитивной логике идти, то можно сказать, что Фотик настучал на факультетского демонического красавца Славу Германа, а вот если расширенно подойти к вопросу, то без труда увидишь, что в небольшом том, не опасном для Германа сигнале не стука было больше, а теоретического недоумения. Просто задавался руководящим теоретикам вопрос, совместимы ли с позицией современного комсомола псевдодержкие размышления С. Германа о правомочности однопартийной системы.

Что касается прямой факультетской деятельности и общего направления событий, то здесь Фотик, безусловно, шел ноздря в ноздю с временем, с тем же Славкой Германом рядом выступал на межвузовских дискуссиях против «замшелости».

Все на факультете знали, что выгнали Славку вовсе не за его разглагольствования об однопартийной системе, а за «Поэзию плоти», то есть серию снимков, сделанных совместно с однокурсницей Полиной Штейн.

Как тогда взволновалось, всколыхнулось студенчество, и Фотик Клезмцов был в числе тех, что требовали немедленного восстановления Славы Германа, этой «противоречивой художественной натуры», в списках будущих «объективов Партии» с сохранением стипендии. Именно во время этой борьбы за справедливость замечен был Фотик и студентами, и академическим руководством, так и диплом защитил, и в жизнь вышел с репутацией, как тогда говорили, «неравнодушного». В этом качестве и к Партии присоединился по призыву XX съезда – если мы не пойдем, пойдут «равнодушные»!

Хорошее, удивительное, важное время, и Фотик с его репутацией сразу получает место в центральной «Фотогазете», боевом органе, что вечно взведен на воплощение принципов наступательного гуманизма. И далее «ФГ», на летучках – порывистое вставание с дерзким отмахиванием прямых разночинских прядей, с колкими вопросами в адрес некоторых «замшелых» членов редколлегии, упорство которых, хоть его и можно сравнить с позицией старой гвардии некоего корсиканца, все-таки ждет лучшего применения, все понимают, что я хочу сказать, товарищи.

И вот – таковы были те удивительные времена – дерзкого Фотика включили в делегацию для укрепления фотографических связей с братской Польшей. Предупредили, конечно, что обстановка сейчас в Польше сложная, противоречивая и, если возникнут в ходе встреч с коллегами какие-нибудь теоретические затруднения, пусть, не колеблясь, обращается хотя бы на самый высокий уровень.

Вернулся из ПНР Фотик окрыленным. Какой там, братцы мои, серьезный дается бой «замшелости»! А трудности были? – спросили его те, кто посылал. Не без этого, признался он. Интересно, сказали те, с какими трудностями сталкивается Народная Польша на пути своего развития?..

Он стал вспоминать в письменном виде все эти, в общем-то, неизбежные в сложной противоречивой обстановке теоретические сомнения, кто сомневался, где и когда, в каких клубах и редакциях схлестывалось в жарких спорах молодое паньство. Увлекаются иногда ребята, подменяют одно понятие другим, хотя и искренность в заблуждениях порой присутствует у таких-то работников польского комсомола.

Так или иначе, но только пьяная сволочь вроде С. Германа может назвать теоретическую записку «доносом», только такой подонок, как Славка, полезет в стол в отсутствие столдержателя якобы для того, чтобы сунуть туда свои дрянные снимочки, алкогольные свои миражные этюдики, только такая наглая, агрессивная, неблагодарная (да, неблагодарная!) скотина может вытащить из стола теоретическую записку с обращением «Дорогой Фихаил Мардеевич!», чтобы напасть на держателя стола и теоретика записки с криком «стукач!» и с желанием мордобоя во имя, видите ли, идеалов юности.

Хорошо, что в «Фотогазете» никто не поверил Герману, ведь все же знали, что из-за девушки у них грызня, из-за Полины Штейн. Да и сам Герман Слава, как протрезвел через несколько месяцев, восстановил, ну, не дружбу, но творческое содружество, печатал через Фотика снимки в ФГ, получал малый гонорар.

Через небольшое время Клезмцов стал самым молодым завотделом газеты, появились у него новые друзья, прогрессивно мыслящие консультанты главного дома страны, словом, развивался сын Фёкла в правильном направлении, пока однажды осенним вечером 1962-го (просветы пронзительной сини над Манежной, мысли о Полине) не занесло его в Клуб гуманитарных факультетов на выставку молодой группы «Фотоанализ». И вот в переполненных бурной молодежью коридорах наталкивается Фотик непосредственно на упомянутую Полину Штейн, успевшую со времени окончания учебы и на Камчатку смотать, и двух деток прижить от талантливого ленинградца Андрюши Древесного. Здесь же в толпе присутствует и сам Древесный с новой подругой Эммой Лионель, и московские новые гении Максим Огородников, Алик Конский, здесь же и Славка, разумеется, Герман, о котором уже говорили, что «выпадает в осадок», ан нет, жив курилка, с английской трубкой в зубах, хоть и опухший слегка, но красавец, как и прежде, здесь же и Утюжкин, и Садковский, и Стелла Пирогова, и Фишер Моисей, и Эдик Казан-заде, и Гоша Трубецкой, и Карл Марксятников, и Федя Цукер, и еще какая-то зелень с девчонками «на подхвате» – и все они, оказывается, и составляют молодую группу «Фотоанализ», смело идущую к вершинам советского фотоискусства, как тут же в толпе заявляет их седовласый покровитель Збига Меркис, недавний космополит и буржуазный формалист, ныне объявленный советским классиком.

Висят на стендах дерзкие фотошедевры, гудит вокруг восторженная толпа, а из зала доносится «Песенка про Черного кота» – это Окуджава пробуждает молодежь.

Тут вот учуял Фотик Клезмцов – что-то совсем уже новое прет, устарели уже «комсомольские кафе» с их дискуссиями «Серости – бой!», как бы на задворках эпохи не оказаться. Тут вдруг охватило Фекловича незнакомое чувство, теоретически именуемое вдохновением, тут он и примкнул к новому движению, освещенному глазами Полины Штейн, которым, прямо скажем, ни Камчатка, ни Древесные отродья не повредили.

Сейчас, задним числом, подводя, так сказать, итоги, можно сказать, что ошибся, залетел не в ту дверь, никаких преимуществ ему не дала близость к левому Олимпу. Ну, переспал несколько раз с Полинкой, но ведь всякий раз была эта красавица в состоянии «N – 1», а наутро как бы и не помнила, кто с ней был, что с ней было, а на все предложения руки и сердца отвечала презрительным смехом...

И все-таки... и все-таки... маета и круговерть тех дней даром не прошли, многое прибавили к «нравственному опыту», как рассуждал теперь со своего поста государственной важности Фотий Феклович Клезмцов, ведущий отечественный теоретик по вопросам нравственности фотоискусства.

Поначалу были сплошные афронты с этим новым направлением. Собственное клезмцовское творчество, увы, восторга у товарищей не вызывало. Этой загадки он никогда не мог постичь: арсеналом технических средств владею не хуже других, эрудиции не занимать, внутренний мир богат, а снимки почему-то восторга у зрителей не вызывают. Таясь от самого себя, Фотик даже выучился постыдному – пальцем размазывать эмульсию, создавать такие вдохновенные вихри... все тщетно. Все эти «товарищи по оружию», всякие там деревенские, германые, конские, огородниковые, никогда всерьез его не ставили, никогда даже не критиковали, а если он к ним обращался за дружеским советом, по какому, дескать, руслу идти дальше, они изумленно на него вскидывались – по руслу, ты говоришь, так ты сказал, Фотик, по руслу? А высокомерная тварь Алик Конский, нынешний эмигрант и отщепенец, даже спросил однажды: а ты, Фотик, разве тоже нашим делом занимаешься?

Трудно было выскочить на гребень «новой волны», но тут вдруг судьба подсунула Фотику удачную фитюлю. Озирая однажды привычную дрянь в газете «Советская культура», натолкнулся он на мемуарные эссеики реабилитированного формалиста Збиги Меркиса, а точнее, на фразочку, звучавшую в таком примерно ключе: «...и мы, фотографы Революции, сейчас с волнением глядываемся в еще не вполне отчетливые, но, безусловно, неповторимые черты молодых мастеров четвертого поколения советской фотографии»... Фразочку эту, набранную нонпарелью, начальство вроде и не заметило, а ведь заложен был в ней основательный подрывной заряд: протягивал маэстро руку из Двадцатых в Шестидесятые, перешагивал через все поколение сталинских говноедов. Прежде такая фразочка заинтересовала бы Фотика Клезмцова главным образом с теоретической точки зрения – дескать, не запросить ли разъяснения у партии? – ныне, посидев над фразочкой с полчаса и поковыряв ногтем за ухом (там имелась любимая незаживающая ранка с корочкой), он был озарен другим смыслом.

Через неделю в «Фотогазете» бабахнула бомба, статья на два подвала «Четвертое поколение советского фото!». Москва ахнула: каков Клезмцов! Проследил все традиции, вычислил и назвал всех по десятилетиям, никого не упуская, и привел, наконец, к нынешним молодым мастерам, наследникам славных традиций, к Четвертому Поколению! Четвертые! Да как же этого раньше никто не видел, никто не умудрился пересчитать? Вот Клезмцов и увидел, вот и умудрился! Читайте сами, у кого пальцев на руке достаточно... Первое: революционные авангардисты, супрематисты, конструктивисты – хоть и немецкой техникой работали, а славы нашей державе прибавили, один Родченко чего стоит, не говоря уже о ныне плодотворном маэстро Меркисе... Второе: это когда уже первую отечественную камеру сваяли из отходов трактора на ХТЗ... тут уже пошло бурное развитие соцреализма с некоторыми досадными напластованиями культа личности... умолчим все-таки о засвеченных пленках и пропавших из позитивов лицах, зачем бередить раны, партия осудила напластования, а достижения были огромные, товарищи, время Днепрогэса, покорение Северного полюса... Третье: это те, что «с „лейкой“ и с блокнотом, а то и с пулеметом»... все помним... никто не забыт, ничто не забыто... вперед, товарищи, за Родину, за... за Родину, товарищи!.. И вот четвертое: поколение XX партсъезда... молодые, обогащенные традициями, эрудициями... космическая эра, научно-техническая революция... впитавшее в себя все самое ценное, отбросившее все наносное... Вот так в одночасье неудачливый фотограф и столоначальник газетной канцелярии Фотик Клезмцов стал теоретическим лидером им же открытого (о фразочке Збиги Меркиса никто и не вспомнил, включая самого Збигу) Четвертого поколения, важнейшим критиком-фотоведом периода поздней «оттепели». Блестяще он овла-

дел искусством марксистско-ленинской «отмазки». Лишь только налетит неуклюжий сталинский гужеед на кого-нибудь из «четвертого поколения», как Фотик большущую запускает фитюлю основоположнических цитат, и окружающие рукоплещут – еще одна победа «четвертого поколения»! Даже эти надменные гады, которых и защищал своими боками Фотик, стали ценить его усилия, уже принимали как бы за своего, уже не удивлялись, когда он уволил из застолья набухавшуюся Полинку.

Фотик своих подопечных даже как бы полюбил, прислушивался к их болтовне весьма внимательно, все новое на снимочках изучал кропотливо, одного только не одобрял – религиозной моды. В те годы и начались престраннейшие для «эпохи НТР» разговоры о Боге. Слишком уж далеко уходили новые гении от основ марксистской философии. Все о Боге да о Боге талдычат друг другу, несут возвышенную заумь, частенько и плачут, упоминая о Лике – вот Он явил нам Свой Лик в Иисусе...

Оказывается, атеизм ущербен и возник не от образованности, а от комплекса, понимаете ли, неполноценности. Фотография – это, видите ли, промысел Божий, а не торжество разума...

Фотик на эту тему предпочитал не высказываться, но в глубине души, так сказать, возмущался новой модой. Претил ему отход от принципов Писарева и Чернышевского, коих полагал своими духовными отцами. Сетовал он на товарищей, которые своим «экстремизмом», т. е. Богом этим, понимаете ли, своим, ставят под сомнение позиции всего «четвертого поколения», под вопрос благоволение сектора отдела культуры ЦК КПСС.

Вслух, однако, возмущения новой модой Фотик не высказывал, чтобы не отшатнулось «четвертое поколение», только лишь осторожно задавал вопросы то Древесному, то Огородникову, «уточнял позиции», так сказать.

Полина Штейн, конечно, на волне этих идей крестилась сама и ребят своих – безотцовщину – крестила.

Вдруг и за собой Фотик стал замечать опасные странности. Иной раз в застолье, после трех-четырёх стопарей, да еще и под Полининым взглядом, бухал он своим основательным кулаком и начинал «выступать» – уж кому-кому говорить о Боге, как не ему, Ф. Ф. Клезмцову, у коего и дед, и прадед были священнослужителями, уж кому-кому говорить о народе обманутом, как не племяннику раскулаченного сеятеля, уж кому-кому говорить об издевательствах над интеллигенцией, как не внуку Бестужевских курсов с маминой стороны!

После таких «выступлений» утром, жутко мучаясь, обзванивал товарищей: как, мол, я вчера, не слишком ли накуролесил? Все трепетало внутри, и, конечно, не от вранья, милостивые товарищи, а от чуткого ощущения опасности; организм с похмелья хорошо улавливал то, что кружило постоянно вокруг этих сборищ «четвертого поколения».

Ну, а для гениев этих засранных все – как с гуся вода! Наорет, понимаете ли, на сто лет лагерей строгого режима, а через три дня отправляется на международный фестиваль фотоискусства в какую-нибудь умопомрачительную австралийскую Аделаиду. Удивлялся Фотик долготерпению Партии и все больше укреплялся во мнении – неспроста это, кто-то за нами стоит, значит, правильным путем идем, товарищи.

Не угадал, прокололся. Ослабил бдительность, не уследил за выражением лица зава фотосектором ЦК КПСС. Скулы высокопоставленного товарища были, можно сказать, барометром классовой борьбы. В период тактических маневров правящего класса скулы уходили внутрь, будка превращалась в подобие тещинового сдобного теста, а то и с цукатами. Однако, когда подчиненные классы – рабкласс и село с прослойкой – больно уж начинали наглеть, скулы выступали вперед, в боевой порядок: не отдадим кремлевского пайка, скорее человечество уничтожим! Ну, а в конкретном 1968 году, когда борьба за «кремлевку» танковыми средствами велась в братской Чехословакии, завсектором с его скулами и сам превратился в подобие карательной машины. Никаких уже отечески снисходительных бесед с

гениями-шалунами, а Фотию, однажды в ответ на звонок, суровейший втык с предупреждением – перестаньте звонить по пустякам, время серьезное, подумайте лучше об уточнении своей позиции...

Хотел было Фотий тут же уточнить свою всегдашнюю коммунистичность, но его и слушать не стали, дали отбой.

«Четвертое поколение» после 1968-го все глубже погружалось в маразм, откуда только пьяный рык доносился. Фотик стал метаться, втягивать ноздрями воздух, вдруг уловил – потянуло онучей. Стал в клубе подсаживаться к окающим компаниям, очень сильно жал руки, заглядывал в глаза, басил по-народному «Здоров!»; и в статьях его и в речах вдруг недобитые петухи закукарекали.

...Чего же еще человеку русскому надо на родной Вологодчине, а тем паче фотографу российскому – поставил треногу на взгорье, прикинул на глазок, как пращурь учили, светосилу (а нам ее не занимать-братъ) и снимай родной «Уралочкой» все, что душе мило: перелесины да перекатины, угодыя колхозные, шагнувшие через лихую годину к нынешней рачительности, зяби этой нежной светло-зеленое шелковистое колыхание...

Вечный жизненный враг Славка Герман не преминул, конечно, опозорить на заседании секции пейзажа, заорал безобразно: а ты, задница, знаешь, что зябь колыхаться не может? Зябь, Фотик, – это вспаханная земля!! Деревенщина ты неграмотная!

Фотик метнулся было за поддержкой, но одни лишь загадочные улыбки нашел на широких лицах. Вполне понятное недоверие испытывали к нему ревнители отечественной фотобумаги: вчерашний стилига, с иностранцами якшался, с инородцами...

Непонятное равнодушие замечалось и в теоретических кругах. Ведь там же знали (не может быть, чтоб забыли) о прежней фотиковской любознательности, о пусть немногочисленных, но ценных же запросах. Конечно, в период «четвертого поколения» Фотик несколько чуждался товарищей из теоретических кругов, но ведь по понятным же причинам, для пользы же дела. Сейчас, случайно встречаясь с такими товарищами, он смотрел на них выразительно, здоровался со значением, увы, находил в ответ только равнодушие. Должно быть, в те дни предложение теоретических услуг превышало спрос.

## II

И все-таки мало-помалу Клезмцов Фотий (щенячий «ик», конечно, был уже отброшен – катилось к сороковке) выбирался из «исторически детерминированной трясины», как он про себя эту трясины с уважением величал. То вдруг статейка проскочит «о нравственности», то, глядишь, доклад вот поручат на секции «Родного пейзажа», то в зональное совещание «Фотограф – объектив партии» пригласят, то на какую-нибудь декаду в делегации...

Как раз одна такая декада и оказалась поворотным пунктом в судьбе Клезмцова.

Дело было в Тифлисе горбатым, что снился Мандельштаму, конечно, и в каторжных ночах, в городе, где порой кажется, что социализм смягчен до неузнаваемости легкими ветрами вечного плодородия. Проходила Декада дружбы, в гостинице «Иверия» стояла огромная московская делегация по всем видам искусства во главе с выдающимся фотографом соцреализма Матвеем Грабочеем, семижды лауреатом Сталинской премии, трижды Государственной, однажды (увы, больше нельзя) Ленинской, депутатом Верховного Совета, членом ЦК КПСС, Героем Советского Союза, заместителем председателя Всемирного Совета Мира, главным редактором пропагандного ежемесячника «Социализм»... да, словом, перечисляя все его титулы, не заметишь, как докатишься до края бумаги.

В шестидесятые годы в кругах «четвертого поколения» над Грабочеем, а также над двумя другими титанами сталинизма, Севарковым и Пистуком, потешались за милую душу – вот-де бражка, вот так монстры, динозавры колхозные!.. Посмотрите теперь вокруг, все эти «гении» в отпаде, в разбросе, а динозавры как сидели, так и сидят в своих креслах, и, если уж речь пойдет о делегации в братскую республику, возглавлять ее Партия пошлет не какого-нибудь сомнительного Древесного или Казан-заде, а своего верного солдата Матвея Грабочея.

В течение всех празднеств Фотий издали внимательно наблюдал Грабочея, его голый череп, слегка почему-то зеленеющий в моменты эмоциональной эрекции, и думал, почему же так неизбежно торчит на вершине этот товарищ при всех вождях, от Сталина до Андропова, ведь не благодаря же своей репутации «верного солдата» и «пламенного трибуна», что-то тут есть еще... масонство какое-то, масон, нет сомнения, это партийный масон!

Декада шла от пира к пиру. Пьяный корабль гостиницы «Иверия» качался посреди некогда великолепного кавказско-европейского города, который даже и в условиях «зрелого социализма» тщится поддержать легенду о вечном празднике у горы Царя Давида.

И в общем, удавалось. Всю ночь до утра из номеров доносились звуки «Алаверды». В кулуарах праздника братских искусств витал эрос, а где эрос витает, там и фронда околачивается.

Однажды в коридоре Фотий натолкнулся на нечто почти уже забытое: «синий берет, синий жакет, темная юбка, девичий стан, мой мимолетный роман» – Полина Штейн! Не женщина, а чудо! Семитское и славянское слилось в чудо природы: ведь через какие только дела не прошла, да ведь и годы уже не малые, а стоит ей только повернуться к тебе, как тут же и теряешь классовые позиции.

Оказалось, что Полина в Тифлисе с командировкой от журнала «Декоративное искусство» – освещать декаду. Как своему, она стала выкладывать ему последние московские ужасты. Герман зашил себе «торпеду», но тут же сорвался, была реанимация. «Фишка» приперлась среди бела дня к Ритке, она сейчас близка с этим, ты знаешь, видным диссидентом Юрой Клейкиным, конфисковали массу негативов. Древесный и Конский подрались в клубе, бились, как злейшие враги, переломали массу стульев. Что ты хочешь, Фотик, у всех нервы на пределе. Андрей халтурит в «Охоте и рыболовстве», Максим докатился до оформления

стендов в домах культуры... «Степанида Властьевна» озверела совсем, бьет по самым лучшим... что ты хочешь, Фотик, такие дела...

Да чего же он хочет еще? Он только ее и хочет, хоть она и не признает его отцом второй пары своих детей. Он стоял в коридоре среди топота декады и звуков «Алаверды», начавший уже тяжелеть, с сильными линзами на носу, в распадающихся своих сальных народнических патлах, вчерашний Фотик, без пяти минут Феклович, и голова у него подкруживалась то ли от бесконечных грузинских тостов, то ли от мокрого облака мучительной, как прерванный коитус, ностальгии. Хочу ее как прежде, нет, сильнее, хоть и столько лет утекло, хоть и прошла она через столько рук...

Вечером на встрече с руководством республики в ресторане «Фуникулер» Фотий наблюдал свою Полину в обществе двух грузинских «комсомольских вожаков» и тихо зверел. Поддав основательно высокомарочного «Греми», он вдруг стал орать нечто ужасное о преступлениях Сталина, о лжи сегодняшнего дня, о задушенном чешском социализме, о том, что повсюду стукачи, он и сам был доносчиком, по глупости, по молодости лет, хотелось больше узнать из теории коммунизма, а теперь-то он понял, какой это все наглый обман, ненавижу коммунизм, ненавижу!..

«Вожак» проволокли его через весь огромный зал под прищуренными взглядами руководства республики и батьки Грабочея. В принципе, они могли его и пришить в тиши в самшитовых кустах поблизости, но следом бежала Полина и слезно просила пощадить дурака. Хорошенькой женщине нетрудно договориться с двумя подонками, так или иначе – Фотий очнулся у себя в номере на облеванном ковре.

Он ничего не помнил, но что-то ужасающее, непоправимое одновременно и засасывало, и высасывало его. Вдруг вспыхивало, как на экране: огромный зал с многосотенной толпой, угощающейся аляфуршетно, Полина в обществе комсомольских плейбоев, барельеф под потолком и там лукаво сохраненный профиль Отца Народов, «солдат партии» Грабочей с бокалом в правой руке, вытянутой, как для расстрела... слышался чей-то голос, вопящий нечто чудовищное – «коммунистов ненавижу!».

И вдруг прорезалось – мой это голос, мой собственный голос! Конец...

Дальнейшее (как и предыдущее) – в тумане и с каждым годом уходит все глубже. Ведь если очень страстно хочешь все забыть, все и забывается или, по крайней мере, замутняется до неузнаваемости. Интересно то, что, если страстно, напряженно забываешь постыдное, оно и окружающими скорее забывается, быстрее превращается в полузабытую легенду.

Пытаясь что-то все-таки восстановить, применяя противотуманные фары высокой интенсивности, мы еще сможем увидеть размытые очертания Фотия Клезмецова у дверей номера суперлюкс, занимаемого главой делегации Матвеем Грабочеем, но за дверь все же нам вряд ли удастся проникнуть, да, честно говоря, и не хочется – тошнит.

Он постучал (десять лет назад в дыму забвения). Дверь открылась. На пороге сталинский солдат в халате (производство героического Вьетнама), похожий на пространщика из Сандуновских бань. Сквозь расходящиеся волны времени Фотий бухнулся на колени. Согласно одним источникам, бухнувшись, он возгласил: «Пощади, Матвей!» Согласно другим источникам, просто молчал, подняв к руководителю страждущее лицо. Источники сходятся, утверждая, что после минутного молчания Грабочей сказал «заходите», и теоретик «четвертого поколения советских фотографов», не вставая с колен, вошел в суперлюкс.

Что происходило в течение полутора часов за закрытой дверью, неведомо никому. Авторской волей, конечно, не трудно проникнуть и в эту тайну, можно, в принципе, даже пролезть в сердцевину грабочеевской «масонской ложи», однако мы тут воздержимся от дальнейших ходов по причине брезгливости.

Ночь была на исходе, когда Фотий Феклович вышел из номера, провожаемый суровым отеческим взглядом Грабочея. Выйдя и не раздумывая, он направился туда, куда ноги

понесли, то есть к корреспонденту журнала «Декоративное искусство» Полине Штейн, и изнасиловал усталую женщину с огромным аппетитом. Вечером того же дня они вместе улетели на Север.

## III

Удивительно, как все повернулось по-новому после той исторической ночи. Вдруг прекратилась многолетняя борьба с Полиной, она капитулировала и признала Фотия отцом своих вторых двойнят. Попробуй откажись – наши, клезмецовские, уши у ребят. Больше того, она вышла за него замуж и родила еще одного гвардейца, первого бесспорного. Старшим девочкам, записанным, хочешь не хочешь, на Древесного, Полина постоянно стала прививать уважение к новому отцу. Сама же ежедневно выказывала супругу чуть ли не рабскую преданность, а уж очаг создала по-настоящему образцовый и в хорошем смысле современный. Кто бы сказал, что в такую «душечку» превратится дерзкая Полина Штейн, богемная баба «четвертого поколения»? Фотий Феклович нарадоваться на нее не мог.

Не очень, конечно, ловко с отчеством у Полинки получается. Львовна сразу выдает львиное происхождение, ну что ж, пятно есть пятно, мы его не прячем, а, напротив, являем собой живой пример интернационализма нашей Партии. В конце концов Фотий Феклович убедился, что интернационализм в Партии и даже в ее «вооруженном отряде» жив. Судите сами – полуеврейка в женах, а такой идет бурный неуправляемый рост. Двух лет не прошло после коленопреклонения в Тифлисе, а Клезмецов уже стал секретарем правления Союза фотографов СССР, депутатом Моссовета, получил отличную квартиру в Атеистическом переулке, выехал с творческими и идеологическими заданиями в две валютно-устойчивые страны, ФРГ и Норвегию, издал солидный том идей «О нравственности в советском фотоискусстве».

Именно как спец по нравственности утвердился Клезмецов в головном эшелоне творческих кадров, и, если в верхах возникала малая или большая нужда по вопросам нравственности, там уже знали – надо вызывать Клезмецова. Фотий Феклович никогда не подводил и смело шел на любой теоретический риск в отстаивании позиций Партии. Да, он был не из тех, что ваньку валяют, в кусты прячутся от острых вопросов, очки втирают, – дескать, мы все-таки не хуже других. Нет, мы лучше всех других, смело заявляет Фотий Феклович и на любой конференции, даже и за рубежом, смело идет на обострение по любому вопросу, будь это хоть продовольственные трудности, временное присутствие ограниченного контингента, хулиганские делишки диссидентов, клевета на нашу психиатрию, крушение подрывных планов «Солидарности», заблуждения западных мастеров фотокамеры с их ограниченным религиозным воспитанием кругозором и т. д. и т. п.

Не кому-нибудь, а именно Клезмецову приписывают авторство термина «зрелый социализм», хоть и прозвучал впервые термин в речи члена Политбюро. Что ж, в наблюдательности Фотию Фекловичу явно не откажешь: социализм советский явно созрел, даже, кажется, уже и перезрел основательно, но об этом молчок во избежание несварения желудка.

К моменту нашей встречи с Клезмецовым прошло уже десять лет с тифлисской ночи, и образ этого «большого политика» (как он себя полагал) окончательно откристаллизовался. От Моссовета дошел он до Верховного Хурала, от членства в бюро до Ревизионной комиссии ЦК, от секретариата в Союзе фотографов до первого секретариата в могучем Фотосоюзе Российской Федерации. Был он членом редколлегии десятка журналов, возглавлял бесчисленные выставкомы, да еще еженедельно просвещал массы по телевидению в рамках Ленинского университета миллионов – «после кино из всех искусств для нас главным является фотография!».

Внешне являл он теперь собой тяжеловатого товарища, однако не совсем традиционно партийного толка. За ним как бы утвердилось право на намек. Длинные волосы кружком, полуседая уже борода клинышком как бы намекали на преемственность от русских революционных демократов. Мощные линзы с дымком прятали нехорошие глазки Фотия Фекло-

веча, и, в общем, иностранцу какому-нибудь нетрудно было его принять за возродившийся тип русского традиционного политика-земца, журналиста и либерала. Даже уж и самый реакционный иностранец не поспешил бы сказать о Фотии Фекловиче «чекистская шкура». Не всякому ведь иностранцу бросались в глаза губы могущественного товарища, не всякий же был физиономистом и мог обратить внимание на губы, которые, хоть и звучит это дешевым каламбуром, выдавали Фотия Фекловича с головой. Просвечивая сквозь седоватую растительность, они свидетельствовали исключительную мерзость, и, хоть не пришлось еще деятелю «зрелого социализма» подписывать расстрельных списков, по губам было ясно – надо будет, подпишет и еще попросит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.